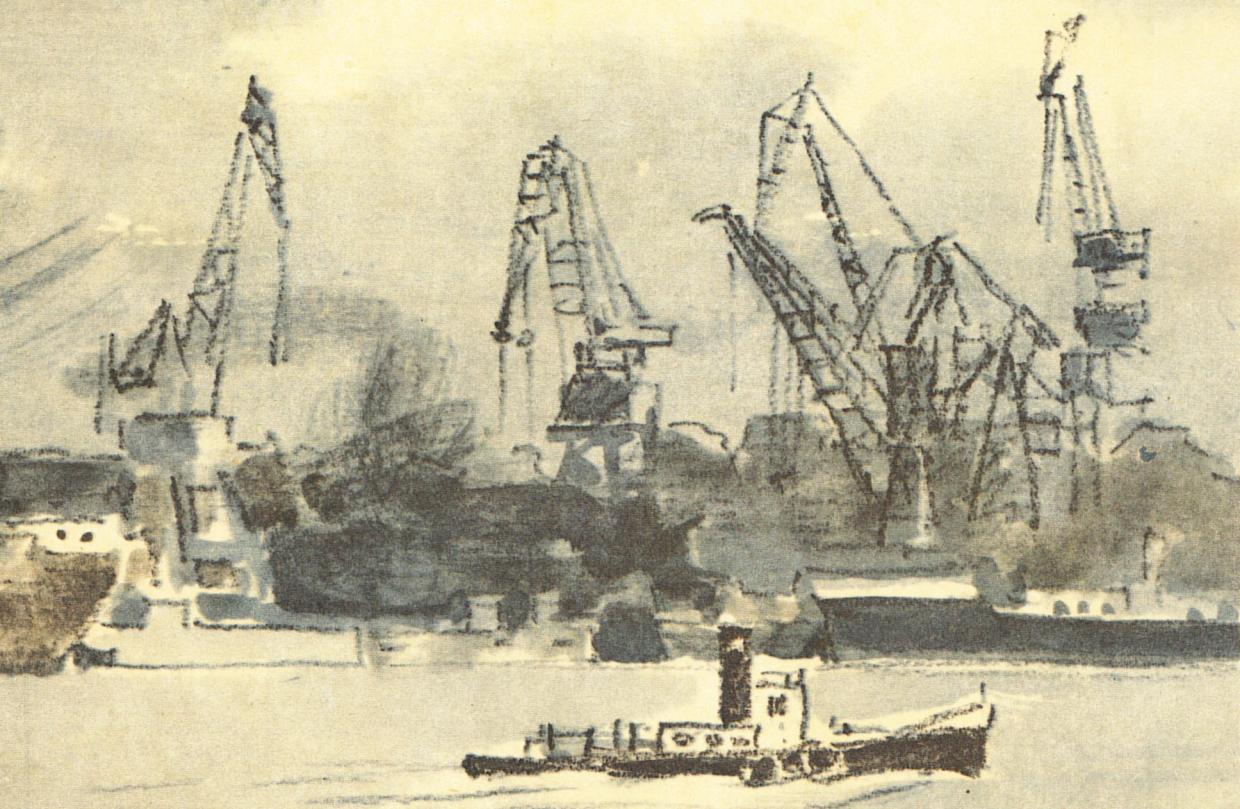


АЛЕКСЕЙ ЕЛЬЯНОВ

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ







Ⓐ



Рисунки и оформление Н. Лаврухина

АЛЕКСЕЙ ЕЛЬЯНОВ

ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ

ПОВЕСТЬ

ЛЕНИНГРАД «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1986

E56
P2

Ельянов А. М.
E56 Давайте познакомимся: Повесть/Рис. и оформл.
Н. Лаврухина. — Л.: Дет. лит., 1986. — 112 с., ил.
В пер.: 50 коп.

Повествование о ребятах — учащихся ПТУ перемежается в книге с историей профессионально-технического обучения у нас в стране. Читатель встретится с различными судьбами и характерами героев, многие из которых списаны «с натуры».

P2

**E 4803010102—116 248—86
M101(03)—86**

© Издательство «Детская литература», 1986 г.

Д О Р О Г И Е Ч И Т А Т Е Л И!

Давайте познакомимся. Предлагаю откровенный разговор в свободной форме с воспоминаниями и размышлениями о поисках и становлении личности молодого человека, о том периоде жизни, когда он настойчиво спрашивает себя: «Кто я? Кем хочу быть? Кем могу стать?»

Повесть автобиографична. Мы вместе пройдем путь, по которому шел сам: от детства, отрочества к юности и зрелости. Может быть, что-то пригодится из моих признаний.

Всем известно, что мечты и реальность, правда и вымысел нерассторжимы в основе своей, поэтому в книге есть и документальная подлинность, и художественный домысел. Некоторые страницы были написаны давно, опубликованы, проверены временем. Я включил их именно потому, что утверждаю: дни минувшие неразрывны с днями сегодняшними. Мы должны познакомиться поближе, с доверием — молодые и уже пожившие люди, как я (мне скоро пятьдесят), ибо много у нас общего в прошлом, настоящем и будущем...

Детство мое прошло в годы войны в детском доме. Потом — ремесленное училище, стал рабочим — слесарем-сборщиком точных морских приборов. Четыре года учился я в Индустриально-педагогическом техникуме, два года — в Литинституте имени Горького в Москве, на Высших литературных курсах. Был мастером в ПТУ, преподавал труд и эстетику. Об этих этапах жизни рассказал в автобиографической трилогии: «Чур, мой дым!», «Утро пятого дня», «Заботы Леонида Ефремова» — две повести и роман.

Став членом Союза писателей, много лет веду литературно-творческий коллектив «Голос юности» при Доме культуры учащихся профтехобразования.

Две линии моей жизни долго шли параллельно — рабочая и литературная, они тесно переплелись, как это произошло и у моих товарищей. Прежде чем стать известными литераторами, трудовой путь прошли лауреат Государственной премии Глеб Горбовский, Виктор Соснора, Леонид Артеменко, Иван Сабило, Галина Галахова, с которой мы теперь вместе ведем наш творческий коллектив молодых поэтов и прозаиков из профтехучилищ. Только что вышла книга стихов у токаря в прошлом Владимира Беспалько. И мой ученик Алексей Любегин, столяр по профессии, в год выпуска из ПТУ-111 тоже издал свой первый поэтический сборник «Мои стихи».

А время идет все дальше, катится, катится колесо жизни, и новые рабочие, поэты, ученые — граждане великой нашей страны — идут на смену. Именно к ним я и обращаюсь. Давайте познакомимся, молодые люди...



В С Т Р Е Ч А

Тишина. Идет урок. По школьному коридору шагаю осторожно, как провинившийся школьник. Оглядываюсь, не окликнут ли, не спросят ли: «А ты почему здесь?»

И вдруг — как взрыв — звонок. Высыпают, вылетают в коридор голосистые первоклашки, наскакивают друг на друга, петушатся. Солидно выходят восьмые, десятые классы. Чинно — девочки, вразвалочку — мальчики. Но вот кто-то кому-то подставил ножку — и началось! Гвалт, топот, крики. Кажется, затопчут. Невольно выставляю руки вперед — как бы не смяли, — злюсь на эту беспардонную публику. Надо же, злюсь, а давно ли сам так бегал...

Идет, лавируя между сцепившимися парами, юная пионервожатая с красным галстуком на шее. Мы пробрались друг к другу, я представился:

- Алексей Ельянов. Пришел к вам выступать.
- Здравствуйте, очень хорошо. Мы хотим, чтобы вы прочли лекцию о профориентации и трудных подростках.
- Простите, я не лектор. Мое выступление — нечто другое. Свободный разговор о жизни. Я много лет связан с системой профтехобразования, писал об этом, так что ваши пожелания учту. А трудные подростки... По-моему, легких подростков не бывает.
- Так-то оно так, но все же. С одними можно договориться обо всем, к другим не знаешь, как и подойти. Особенно если в доме нет отца или он есть, да пьет...
- Скажите: что вы сами и ваши ребята знаете о ПТУ? Есть ли у вас связь с училищами?
- Школа наша давно наладила отношения с ПТУ. Но не очень-то хотят наши дети туда идти...
- Почему это? Работать не хотят?
- Не сказала бы, что не хотят работать. Наши ребята почему-то считают, что там занимаются самые отстающие, самые бедовые. Они здесь всем надоели, а там для них воля. Пришли мы как-то в одно ПТУ — ну просто ад...

— Почему? Потому что кричат, толкаются? Или стены не те? Классы плохо оборудованы, грязь?

— Нет, чисто и классы отлично оборудованы, лучше, чем у нас... А так вот — ад, и все...

— Так и в любой школе ведь кричат, толкаются. Дети же... Следует ли уж так предвзято смотреть на профтехучилища и своих же воспитанников, бывших школьников, наших детей...

— Верно, что они дети... всюду одинаковы, — несколько смягчилась пионервожатая. — И все-таки... В общем, когда мы водим ребят на завод — на экскурсию или на практику по труду, — они с интересом все рассматривают. Работать хотят. Ну, не токарить или слесарить, а что-нибудь этакое, романтическое — приборы точные собирать или еще что-нибудь в этом роде...

— А что именно, никто не знает? — поинтересовался я.

— Почти что никто.

— А вы-то сами за тех, кто не хочет, боится работать на заводе, или наоборот?

— Честно говоря, боюсь соврать... Не знаю даже... На производстве я никогда не работала, и у детей нет ясности. Теперь у нас обогружаются мастерские, может, тогда... Молодежь сейчас институты, техники манят. Престижно! Так говорят ребята. Их и родители поддерживают... Меня, честно говоря, удручет, что многие ужасно инертны, ничего не хотят.

— А в чем дело, как вы думаете?

— Все у детей есть, никакой борьбы за жизнь. А родители... Да что там говорить! При мне одному отстающему ученику папа сказал в сердцах: «Учи, за полтораста джинсы не получишь. Будешь носить обыкновенные, за восемьдесят». Наказал, называется. Я убеждена, что и этого слова он не сдержит. Какая уж там педагогика... — И пионервожатая, вздохнув, доверительно предупредила: — Учитите: наши ребята особенно трудные.

— Понимаю. Вы ничем не хотите отличаться от других школ, — сказал я с улыбкой.

Подумал в который уж раз, что настоящий учитель всегда терпелив, он верит и надеется, что почти в каждом его ученике есть что-то исключительное, талантливое, надо только помочь проявиться этому, дождаться, дотерпеть.

На выступлениях я обычно рассказываю не просто о книгах — говорю о своей жизни, о сложившейся или неудачной судьбе кого-нибудь из моих товарищей, стараясь вызвать соучастие в каждом слушателе. А вдруг что-то пригодится для выбора пути? Мне важно бывает разрушить школьские защитные барьеры: вялость, леность мысли и чувств, привычку все воспринимать вполуха, а главное — не вполне всерьез. Вот улица и то, что дети или подростки делают сами, — это да, это жизнь, а что навязывают им взрослые, учителя — для многих это просто лекции, нравоучительные назидания, которыми перекормили. Так нужно поступать... так нужно думать... так нужно, но не обязательно, — это все для других, о другом.

Любая человеческая судьба интересна, поучительна. Все мои книги так или иначе рассказывают о том, что я увидел своими глазами, пережил. Я принадлежу к поколению, которое называют «дети войны». Дети,

которые не успели сесть за школьную парту в мирное время, кому выпал трудный путь созревания, становления личности. На выступлениях мне хочется поделиться опытом, не скрывая ни плохого, ни хорошего, чтобы не прекращались связи времен, доверие друг к другу, чтобы наш горький опыт, насколько это возможно, не повторялся, предостерегал от ошибок, а наши добрые дела, открытия и поступки помогли бы молодым людям в полной мере обрести себя, раскрыть свои лучшие возможности.

Стать человеком, быть человеком — большие, емкие понятия, они лежат в основе всего. И на выступлениях обычно я начинаю разговор именно о том, как и когда по-настоящему заговорили во мне совесть, чувство ответственности человека перед человеком...

* * *

— Когда шла Великая Отечественная война, я воспитывался в детском доме. В нем собирались из разных сел и городов страны обездоленные дети. У каждого была своя беда. И казалось бы, в таких трудных условиях надо всем объединиться, стать особенно добрыми, бережными друг к другу, а запомнилось мне вот что...

Передо мной сидели учащиеся восьмых — десятых классов, чистенькие, цветущие, разрумянившиеся от недавней беготни и потасовок. Когда я выхожу перед такой аудиторией, кажется, что встречаюсь лицом к лицу со своей юностью и что скажу о жизни, насоветую, то и будет. Волнуюсь.

На столике, как обычно, цветы. Зал большой, спортивный, шведские стенки меж окон, баскетбольные щиты. Легкие, многоцветные кресла рядами. Сотни живых, внимательных глаз обращены ко мне. Там и тут — взрослые, на всякий случай, чтобы усмирить шум, если что. «Нет, мне этого не надо. Верю, мы поймем друг друга без принуждений. Ведь разговор пойдет о главном, об отношении человека к человеку, о поисках себя, своего пути в жизни. Надеюсь, что все, кто меня слушает, станут моей духовной родней, если я прав... Хочу не поучать — признаваться. Расскажу о самом больном, стыдном в своей жизни, о том, что открыло во мне человека, я об этом написал в повести: «Чур, мой дым!».

— По очереди мы охраняли склад, где лежали продукты. И вот в дежурство одного паренька случилась кража. Кто-то из ребят утащил бочонок с медом. Мед по тем временам был не лакомством, а лекарством. Мед с молоком, мед с чаем всех поднимал на ноги. Болели мы часто...

Воспитатели всполошились: чем лечить? Где мед? Кто взял? Сами знаете, по мальчишеским законам умри, но не выдай друга. Друга не друга, а своих выдавать нельзя.

Парень, который стоял на часах и видел, кто взял, молчал на всех «допросах» воспитателей и директора детдома — Монашки. Так мы ее прозвали за то, что она все время носила одежду черного цвета. Мы дразнили ее этим словом, а только в конце войны узнали, что фашисты замучили всю ее семью, она носила траур.

Воспитатели долго убеждали Юру — так звали того паренька — открыться, не таить. Ведь это было не просто воровство — величайшая

подлость по отношению ко всем остальным. И Юра понял это, назвал виновных.

Мед они спрятали в баньке. Их было четверо главарей четырех тайных компаний нашего детдома. Хотели поживиться за наш счет — а мы хоть умриай.

Двоих отправили в детскую исправительную колонию — они были виновны не раз, — а двое других остались после сурогового наказания.

И вот они решили отомстить Юрке. Над школой, на крыше, свершились у нас все тайные дела, самосуды пацанов. Там Юрке насиливо выкололи тремя иглами пятнышко на лбу — мушку. Мол, меченый теперь, Дула он, Дульщик... Продать, продуть может, мол, любого.

По тогдашним мальчишеским законам это казалось справедливо...

Много было в детдоме мальчишек с улицы, беспризорников. Чему только они не научились... Ну, вот по тем законам мы, мальчишки, считали, что Дульщик наказан справедливо, и никто не хотел с ним играть, разговаривать, даже рядом сидеть, чтобы не стать таким, как он.

И даже когда в комнате мы все обогревались у одной печи, перемещаясь, как пчелы, Дульщику места для обогрева не было.

Каждый знает, что самое страшное — это отлучение от коллектива. Однажды, когда я возвращался с рыбалки, Дульщик догнал меня, решил поговорить, пока мы одни, я ему чем-то нравился. И мы разговорились. Оказалось, что у Юры вообще нет никого на свете, кроме старенькой бабушки в Белоруссии, и он не может понять, за что над ним так издаются ребята. Мне было тошно за Дульщика, я готов был с ним подружиться. Тем более что новая воспитательница, приехавшая из Ленинграда, понравившаяся нам всем, показалась ему сестрой, так же как и мне... Мы стосковались по своим, по ласке — вот и получилось, что приняли желаемое за действительное. Да, мы могли бы стать с Дульщиком друзьями — у него было доброе сердце.

Но вот я увидел на горе воале детдома старших пацанов и понял, что, если не отстану от Юрки, меня будут презирать, так же как и его. Я испугался. Придумал, что у меня заноза попала в пятку, отстал. Дульщик понял уловку, быстро ушел. А мне потом было очень стыдно...

А дальше получилось так. Привезли к нам фильм о моряках-севастопольцах, о том, как они защищали свой город. В одном батальоне осталось пятеро, а фашистские танки все идут, идут, и тогда наши, обвязав себя гранатами, стали бросаться один за другим под гусеницы фашистских танков.

Все это нам показывали в столовке, на старой пропыни, по частям. Электричество подавалось от динамо, которое крутил наш Дед, сторож детдома, дед Андрей. Он и воду возил нам на быке, он и голубей стрелял, чтобы суп варить, когда мы болели. Плакал, жалел голубей, а стрелял. Он очень нас любил. У него тоже, как и у Монашки, все погибли. Мы ему были семьей.

Фильм о матросах поразил нас. Каждому захотелось совершить свой подвиг, да чтоб такой...

Мальчишки, как известно, на такие выдумки скоры. Наш детдом стоял на высокой горе, внизу был татарский аул на берегу реки Ик — плетеные высокие изгороди окружали дома и огороды.

Кто-то нашел огромное колесо от сенокосилки — зеленое, с зубцами. А кто-то предложил скатывать его с горы, чтобы летело оно по

валунам, грохотало и шмякалось в плетень. Эта забава нам очень всем понравилась. Колесо летело, подпрыгивало, а мы кричали «ура!».

И вот кто-то предложил бросаться под колесо посреди горы в тот момент, когда оно подпрыгивает над самым высоким камнем и летит по траектории метра два-три. Кто выдержит это испытание, тот и герой, того будут качать на руках, простят ему все грехи, дадут лучшую пайку хлеба — горбушку с довеском, а койку в спальней поставят возле печки.

Двое смельчаков выдержали это испытание, их качали, им все прощали, они были для нас настоящими героями. Потом испытанию подверглись все. Очередь дошла и до меня. Страшно было ужасно. Я ждал, когда же там, наверху, мои товарищи точненько направят грозное колесо, прикидывал, как я брошусь, — ведь нельзя струсить перед всеми: засмеют, унизиют, как Дульщика. Вон летит оно, несется, это зеленое зубчатое чудовище. А вдруг погибну?!

И тут я заметил, что с другой стороны по косогору — одна нога выше, другая ниже — бежит Дульщик. Он явно спешит к нам, ему тоже хочется быть героем, чтобы все простили ему, чтобы он стал снова своим.

Но Дульщик не знал, какой нужно выжидать момент, он не имел права стоять со всеми... он бросился под колесо и погиб.

Ярко светило солнце в тот день, весело стрекотали кузнечики в траве, пел жаворонок в небе, а Дульщик, щупленький, светловолосый наш товарищ, лежал окровавленным. Все мы, окружившие его, были ошеломлены смертью.

Смотрим, бежит Монашка, откуда-то узнала уже про все. Седые волосы выбились из-под платка, глаза безумные, голосит. За нею наш детдомовский сторож, Дед, спешит, прихрамывает. Подбежал он, с трудом перевел дыхание, склонился над Юркой, поднял его на руки. Потом оглядел нас всех какими-то кровавыми, ненавидящими глазами и прорычал: «Сволочи! Убийцы!» И пошел в гору, понес Юрку — голова и ноги его покачивались над ковылем.

Кто-то из нашей компании тут же улизнул, чтобы не быть ни за что в ответе. А я подумал: почему же Дед назвал нас сволочами и убийцами? Я тут при чем? Я же ничего не делал, стоял — вот и все. Это он сам прыгнул...

Я, наверно, никогда не понял бы своей вины, если бы однажды не сказала нам всем наша новенькая воспитательница: «Приходите на могилу Юры почше, вы станете лучше. Вы все виноваты в его гибели. Одни — злобой, другие — равнодушием. Никто не защитил его».

Все вспоминалось так, будто произошло это совсем недавно. Детдом жил и будет жить со мной всегда — напряженно, трудно. Это известно каждому детдомовцу. Кому подступил к горлу, и, чтобы скрыть свои чувства, я заключил более сурово:

— Смерть человека о многом напоминает. Как жить, что надо бы успеть сделать, чиста ли совесть... Я рассказываю и пишу о том, что знаю, что пережил. Чему и где учился, а было всякое... Что успел сделать, а что хотелось бы. Самое трудное и самое важное — это общение. Пишу я о суровом прошлом не для того, чтобы вас напугать нашими трудностями или разжалобить, просто я считаю, что вы не должны быть Иванами, родства не помнящими. В каждом человеке живет история его личной жизни, история жизни папы с мамой, дедушки с бабушкой,

история народа, его борьбы, культуры — тогда только можно добиться главного: стать личностью, настоящим человеком, гражданином страны. Итак, я расскажу о времени моей юности, о том, как мы выбирались в люди, о книгах своих, о друзьях, путешествиях, а вдруг да и вправду пригодится вам хоть что-то из моих признаний...

Тихо было в зале, так тихо, что я знал: мой негромкий голос долетает до самых последних рядов. А потом, минут через тридцать — сорок, когда увидел, что мне поверили, доверились, спросил:

— Многие из вас скоро закончат школу. Кто может рассказать о своем дальнейшем пути, хоть что-нибудь о своей будущей специальности? Кто кем хочет стать?

Ученики помалкивали, переглядывались. Заинтересованного желания поговорить на эту тему я не видел (к сожалению, не впервые). Стал, как говорится, раскачивать всех, вызывать на откровенность. Задавал конкретные вопросы:

— Кто решил быть токарем?

Молчание.

— Слесарем?

Молчание.

— Пекарем? Швеей?..

Две руки поднялись.

— Шахтером? Генералом?

С улыбкой, с шутками — еще несколько рук.

— Ну а все-таки: кто хочет заниматься каким-либо конкретным делом?

Каждый прячется в себя, скован. Рассчитывает на соседа, более смелого товарища. Или не может при всех раскрыться. Или не знает, растерян, не думал? Напряженное, смущенное молчание. Потом, смотрю, начинают дурачиться.

Довольно долго так и не отвечали ученики на мои вопросы. Специальности, связанные с производством, с малоизвестным или рядовым делом, их не интересовали. А некоторые специальности даже отталкивали учеников и учениц одним только своим названием, неудовольствие и пренебрежение было написано на лицах, хоть разговор наш был доверительным...

— Значит, метите сразу в генералы или академики, так, что ли? — снова спросил я с легкой ironией. — А кто, скажем, в строители пойдет? Маяром станет, каменщиком? В наших профтехучилищах подготавливают рабочих больше трехсот специальностей. Молодых рабочих из училищ знаете, видели?

— Знаем, знаем, — небрежно бросил какой-то задиристый паренек.

— И что же? — спросил я. — Не нравятся?

— Да ну, все они такие...

У меня дух перехватило, показалось, что я снова в ремесленной форме и мне крикнули: «Эй, ремесло!».

— Так чем же они вам не нравятся? — спросил я сдержанно. — Курят? Хулиганят? А вы, значит, пай-мальчики... А когда в коридоре меня чуть не сшибли, значит, это были не вы? Тени? Ладно, — пошел я на мировую. — Не будем попрекать друг друга. Давайте по-честному поделим поровну достоинства и недостатки молодости. Ведь кто такой учащийся профтехучилища? Он и школьник, он и студент, он и рабо-

чий. Человек, можно сказать, в трех лицах... Он к тому же еще и воин: возраст его таков.

— Или, может, в самом деле у вас все по-другому? А? Вы особенные? Вами правит разум? Благородство? В полную силу действует закон «не бей лежачего»? Кто умнее, тот и сильней?.. Или нет? Все наоборот? Кто сильнее, тот умней? Что улыбаешься?

— Мы действуем, как все, — услышал я бойкий голос.

— Что значит «как все»?.. За этим легче спрятаться? Все дерутся — и я туда же? Мол, сообща, коллективно били, никто не виноват — так, по-вашему, получается? Коллектив, как известно, — уважаемая сила... Ну а почему бы не быть своей голове на плечах в плохом и в хорошем? Вот, например, что такое коллективная работа? Кто ответит?

— Это когда все вместе сообща что-то делают, — убежденно высказалось сразу несколько человек.

— Правильно, — согласился я. — Но вот давайте представим такое... Пятеро несут бревно, чтобы построить дом, — это коллективная работа?

— Конечно, еще бы!

— А если те же пятеро решили проторанить, предположим, дверь школы — коллективная работа?

Все засмеялись.

— В чем же разница? — спрашивал я. — Не знаете? Да в том, что настоящая коллективная работа всегда предполагает общую разумную цель. Когда всем вместе, всему коллективу или обществу необходимо и полезно действие каждой личности. Поэтому нет только плохих или только хороших специальностей, специалистов, а есть плохие или хорошие исполнители своего дела. Это, казалось бы, так очевидно, но, я вижу, не каждым из вас осознано. Так кто же вы в будущем?

— Я буду шофером, — послышался тихий голос. Юноша смущенно улыбался: мол, я еще не знаю, как получится у меня, но все же...

Многие парни хотели бы стать шоферами, они смелее, определенее других говорят о завтрашнем дне. Шоферская специальность мужская, широко распространенная. К тому же она связана со свободой передвижения. Послышались еще голоса:

— И я буду шофером...

— И я...

Как известно, пример товарища заразителен, а подумать о себе, о своих склонностях и возможностях независимо от других бывает не так-то просто, многие не приучены к самостоятельным решениям.

Кто-то пошутил:

— Ты, Сашка, будешь мусор развозить.

Все опять засмеялись.

— Напрасно смеетесь, — сказал я. — Ну и что, будет мусор развозить, тоже польза всем. Вон в Прибалтике как уважительно относятся к трубочистам. Считается большой удачей прикоснуться к их одежде — это приносит счастье молодоженам. Еще бы: трубочист забирается в святынях домов, очищает очаг, дающий тепло, пищу. Так что не случайно сложилась такая хорошая традиция у народа. Умное, возвышенное отношение к своему «я» не предполагает унижения, принижения другого «я». Высокомерно ведут себя только невежды, высокочки, «парвени», как говорили когда-то.

Школьники слушали, но общие рассуждения были им не столь близки, я это понимал.

— Да, — сказал я, — очень важно найти себя. Свое место в жизни. Казалось бы, как это — искать себя, вот я весь тут. Внешне — да. Но по существу... непросто найти свою суть, отыскать дело, которое будет любимым, придаст всей жизни основательность, особый смысл.

И эти мои слова для некоторых были слишком отвлеченными.

— Когда я учился в ремесленном училище, наш мастер любил повторять: «Ни один доктор не выпишет вам рецепта на все случаи жизни — ищите, творите...» Я искал себя всегда и всюду. Когда работал на заводе, когда учился в Индустриально-педагогическом техникуме, когда писал стихи или был мастером в ПТУ, и сейчас идет поиск — лучшего себя...

Какой-то паренек, махнув рукой, бросил:

— Писать-то что, удовольствие.

— Верно, большое удовольствие. Но бывает... Литературное дело оказалось для меня самым трудным из всех, какие знал и знаю. Голова болит, душа болит, часто сон не идет. Нет, не ропщу, объясняюсь. Сам себе выбрал путь, эту долю, это мое... И неизбежны для каждого труд в прозе или в поэзии и поэзия в труде, если действовать в полную силу.

Я видел: все больше понимали меня, принимали молодые люди. Легко было делиться сокровенным.

* * *

После выступления, на улице иногда получается самый откровенный разговор. Так было и на этот раз. Бойкая Надя сказала:

— Я в ПТУ не пойду, я буду актрисой. — Подумала недолго и добавила — совсем о другом: — Или кассиром, как мама.

Кажется, устыдившись моего молчаливого вопроса, удивления, вернулась к прежней мысли:

— А вообще-то, можно и в ПТУ пойти. Девочки говорят, там не хуже, чем в школе, даже легче учиться, интереснее. Можно стать продавцом или машинисткой...

— В ПТУ-десять обучаются секретари-машинистки, знаю наверняка, — сказал я. — Разговаривал с ними, очень довольны. Работа нелегкая, но очень живая, с людьми...

— Но только не маляром, — перебила меня Надя. — Я не хочу в малярши. Краска, грязь, всегда на улице... Руки испорчу... — И снова, будто бы устыдившись, сказала: — А вообще-то, ничего, наверно, даже интересно строить новые дома, чтобы людям было удобно и красиво... У меня есть подруга, Катя, она так и решила — быть маляром... А я еще подумаю...

Я не убеждал и не разубеждал Надю, позволив ей самой искать себя хотя бы пока в предчувствии своего будущего.

— Сначала я попробую в театральный институт поступить, а там уж как получится.

— Играли в самодеятельности? — спросил я.

Надя кивнула. И опять, будто бы убоявшись самых смелых своих мечтаний, быстро заговорила:

— Нет, я ничего такого особого не имею против пэтэушников. У меня мама когда-то ремесленное кончала. Просто у меня есть мечта и я хочу попробовать ее осуществить... А там уж как получится. Я, может, если что, в парикмахеры пойду, буду модные прически делать в салоне красоты. Там чисто, хорошо и заработка поддающие...

Что и говорить, все профессии, о которых упоминала Надя, интересны,уважаемы, но не слишком ли много направлений поиска, таких крутых поворотов? «Что же именно она ищет в жизни? — думал я. — Что руководит ею, к чему примеряется — к сути или к чему-то внешнему?» И услышал:

— Я знаю одну девочку, она так шикарно одевается, прямо ужас. У нее все модное — сапоги, дубленка... Сигареты курит заграничные... Нет, я не за то, чтобы именно так вот жить... Не обязательно, мы вон с мамой и папой живем скромно, но все-таки хочется пожить не хуже других...

— Это смотря с кем сравнивать свою жизнь, — сказал я. Надя быстро согласилась, но осталась, кажется, при своем мнении, о котором я мог только догадываться: сапоги, дубленка, заграничные сигареты...

Другая девушка, тоже лет семнадцати, модно одетая, отважная, энергичная, призналась, что она поскорее хочет попасть в ПТУ, но только для того, чтобы «не мозолить глаза никому дома».

— Не дают жить так, как я хочу. «Приходи в одиннадцать», — требует мама. А отец только и знает, что кричать: «Смотри, если что...»

На мое замечание, что требование мамы справедливо, а идти в училище только для спасения от дома довольно-таки легкомысленно, девушка хмыкнула, и я понял, что она меня тоже причислила к разряду назойливых родителей.

— Мы не маленькие, сами себе хозяева, я хочу позволить себе все.

— Что все?

— А все!

— Без ограничения? — удивился я отваге девушки, ее уверенности в своем полном праве на все, уверенности в том, что от этой «полной» свободы она станет жить лучше, интереснее.

И она никак не могла понять, что даже само стремление к абсолютной независимости от человеческих и гражданских обязанностей, от правил общественного поведения — безнравственно.

Я хорошо знаю одно из специальных ПТУ, являюсь там почетным воспитателем. Присутствовал однажды на выпускных экзаменах тех, кто отбывал срок наказания.

В большой комнате за широким столом сидели представители общественности областного города, инспекции по делам несовершеннолетних, воспитатели, мастера, директор училища. Это был своего рода общественный экзамен. Каждого выпускника вызывали по очереди. Зачитывалась характеристика; члены комиссии спрашивали, что привело молодого человека в специальное училище. Ответы были стереотипны: не хотел учиться, пил, курил, хулиганил, воровал. Одни по своим натурам были, так сказать, творцами, режиссерами преступлений, задумывали ту или иную подлую ситуацию: вырвать сумочку у беззащитной женщины в темном, безлюдном месте, ограбить ларек, — другие оказывались покорными, бездумными исполнителями.

На вопрос: уверены ли они в том, что больше не будут совершать преступления, — все отвечали, что да, уверены. Но по глазам, по голосу, интонациям мне порой казалось, что есть еще и такие, кто хитрит и перед членами комиссии, и перед совестью своей, и перед людьми, с которыми им предстоит жить.

Один из выпускников вызвал у всех серьезное сомнение, ему не дали добро на волю, свободу. Надо было видеть его отчаяние. Он упрашивал, умолял, готов был на любые условия, на любую работу. Цена свободы им была осознана вполне, но, как ею распорядиться, он еще не знал. Он рвался из училища не потому, что его плохо кормили, одевали, — условия жизни ему предоставили хорошие. Городские власти понимали, что о заблудших, часто брошенных семьями, обездоленных, воспитывавшихся кое-как — улицей — детях нужно позаботиться особо. Каждый ученик обходится государству в три, в четыре раза дороже, чем в обычных ПТУ.

После выпускного экзамена я поближе познакомился с одним из тех, кто когда-то мешал нормально жить себе и всем, кто искренне осознал свои ошибки, — это был рослый красивый парень Юра Матвеев по прозвищу Медведь. Потом мы стали с ним переписываться, переписываемся и теперь, его судьба в дальнейшем сложилась хорошо, он киевлянин, пошел строить дома, обзавелся и собственным домом. В тот день после экзаменов он мне признался вот в чем...

«Однажды я рубль у девчонки вырвал, потом с приятелем мы в тихом садике сумочку отняли у женщины. Мне и стыдно было, и противно, а не сдержался, послушал того дружка постарше. Есть такие главари — теперь понимаю: подлые хитрованы, любители поживиться за чужой счет. Они вроде бы на себя берут всю ответственность. Вроде бы воруешь ты, да не ты...»

Наши ребята всего понавидались, почти все с улицы вроде меня, у каждого какое-нибудь свое дело было, на каком и попался... Кто воровал, кто хулиганил, а один взял ножовку и под Новый год спилил у райисполкома елку с синими шишками. Во дурак.

Выпуск вот у меня. Надеюсь, что все будет в порядке. А чувствую, что стал я здесь сильнее. Определился. Специальность приобрел. И особо понял я, что такое свобода... Раньше казалось, что это время, которое надо прожечь, прокурить, промчаться по нему с ветерком, а теперь даже не знаю, как и объяснить. Свобода для меня теперь — это... В общем, наступил на ногу — отвечай. Свобода — это что-то такое очень и очень дорогое. И тем, кто сейчас собирается еще только идти на дело: сумочку рвануть, девчонку обидеть, — я бы сказал: «Эй, дурачье, остановись! Все равно ваша песенка спета, поймают как пить дать, а вам не отмыться потом будет всю жизнь... Остановитесь, пока не поздно, ухватитесь за самое главное — за свободу и честную жизнь и держитесь за них руками и ногами...»

Шел я со школьниками, продолжал разговор, слушал их рассуждения.

Один паренек хотел стать судостроителем, и ПТУ его ничем не страшило, а, наоборот, привлекало. Другой не хотел быть ни ученым, ни инженером — он верил только в крупный заработок рабочего человека и лишь с этой точки зрения смотрел на ПТУ, спрашивал, что и где по-выгоднее...

Особенно запомнились мне два признания.

Коля, лет шестнадцати — семнадцати, говорил вяло, скрипуче, как уставший от жизни старишок:

— У кого-то есть мечта: поехать на великую стройку, стать врачом или капитаном. Я бы тоже мог придумать что-нибудь такое, красивое, но не хочу. У меня нет никакой такой особой мечты. В школе я учусь средне: четверки, тройки, иногда и пятерки попадались. В общем, не хуже, не лучше других... Любви к школе нет и не было. Учился потому, что надо было... С родителями живу нормально. Что-то они понимают в моей жизни, а чего-то — нет. Когда ругают меня, помалкиваю... Огрызнусь — еще хуже будет. Когда хвалят, тоже помалкиваю. В общем, ничего такого у меня нет особенного, — как у всех, как у многих. Есть друг, и товарищи есть. Больше люблю, когда один. Читаю, музыку слушаю, диски. О будущем?.. Думаю, конечно, но, если честно, еще успеется, навкалываюсь. Я больше люблю свое прошлое... когда у бабушки жил на даче, когда меня все любили. Теперь вот всюду говорят: личность, ищи себя, свой талант. А если я не знаю ничего про свой талант? Я человек обыкновенный. Иногда себя спрашиваю: «А чего ты хочешь по-настоящему?» И отвечаю: «Всего и ничего...» Просто жить и чтобы меня не очень-то трогали. В институт пойти? Пошел бы, но вряд ли смогу поступить. Да и на кого учиться? Особых увлечений нет. Быть просто инженером каким-нибудь — не интересно. У него и заработки не очень. У рабочего больше. А быть рабочим? Даже не знаю. Что-то не то, неохота. Всегда успею, наработаюсь...

— Ох, скучно так жить, Коля.

Он пожал плечами. Казалось, Николай потерял что-то очень дорогое. Может, время? Судя по инертности, даже в рассуждениях, его с детства не приучили радоваться труду. Даже в той деревне, где ему было хорошо, не нашел он этой радости, как же так? Скука, скука вместо живости, любознательности. А скука, как известно, не веселье....

В чем тут дело? В плохом домашнем воспитании? В благополучной жизни, когда все само дается?.. Я долго ходил по городу, думал, вспоминал: каким же был сам в их годы, как складывалась моя жизнь, во многом типичная для поколения «детей войны»?..

КАТИСЬ, КОЛЕСИКО, КАТИСЬ...

О чём бы я ни думал, ни рассказывал, ни писал, всякий раз неизбежно я возвращаюсь в прошлое. С голосом оттуда, из прошлого, соизмеряю жизнь.

Все познается в сравнении. Когда, бывает, я спрашиваю сам себя: сытно ли живу? — вспоминается маленький кусочек детдомовской пайки сырого вязкого хлеба, который я держу в руках бережно, как птичку, вдыхая дурманящий запах, потом отщипываю дольку мякиша, разминаю ее в пальцах, катаю на ладони, делаю «колбаски», «пиццы», «шоколадки», а потом кончиком самодельного пижичка бережно кладу в рот воображаемые сладости и жду, когда они сами растают, растворятся.

ДЛЯ ФОЛЦА



рятся, или жую их так, будто у меня оттопыриваются щеки от вкуснейшей еды. Так все «лакомились» в детдоме до самого того дня, когда рыжий Витька ворвался в класс и завопил: «Победа! Победа! Наша взяла!»

Двадцать миллионов наверняка лучших пахарей земли, лучших сталеваров, трактористов, строителей, пекарей, даже самых лучших музыкантов и поэтов заплатили жизнью за ПОБЕДУ! Не будь войны, какую бы жизнь они нам подарили!

Кажется, по всей планете поставлены надгробья отцам и матерям, сестрам и братьям, спасшим Родину, защитившим детство и отрочество моего поколения. Много лет прошло, с тех пор как закончилась война. Мир не успокоился, он каждый день в предощущении еще большей беды.

Кусок хлеба... и война... Как много стоит за этим. Смерть и жизнь, благородство и подлость, жестокость, взлет ума и безумие...

Войны погубили много миллионов людей. Самых сильных мужчин, цвет наций. Фашисты при посвистах губных гармошек ходили в психические атаки. В концлагерях они гоготали, когда идущие на смерть в газовую камеру пели о Родине, о любимых. А тот, кто расстреливал детей, оказавшихся в плена — бывали случаи, — усаживал своих кровных детей на колени, играя им Моцарта и Бетховена...

Чтобы отстоять независимость, чувство собственного достоинства, потребовалось пожертвовать только Советскому Союзу двадцать миллионов человек.

Чтобы выстоять четыре года чудовищной беспрерывной бойни, надо было даже женщинам пахать землю на себе — тащить плуг по черному полю, как тащили его когда-то вол, лошадь, трактор.

Чтобы стреляли наши пушки и винтовки, взлетали боевые самолеты, надо было, чтобы и тридцати-, и четырнадцатилетний парнишка стоял на трех деревянных подставках за станком и по двенадцать — четырнадцать часов точил бы и точил детали — все для фронта.

Недавно на Алтае я встретил одного пожилого ленинградца, Петра Ивановича Степанова. В разговоре в кругу молодых друзей в одном из ПТУ города Бийска он рассказал вот что о годах войны:

— Теперь-то что, работать учат не наспех, по-настоящему, в хороших помещениях. А вот я, когда сварочному делу учился в фабзавуче, только и слышал: «Чего копаетесь, быстрей, быстрей!» Ничего странного, тогда мы только первые пятилетки одолевали. На трескучем морозе нас учили, под дождем, где придется. Три месяца — и готов спец. Работать учились по ходу дела. И ничего себе учились. Вы представляете, я был первым, кому поручили произвести сварочные работы, когда создавался на Кировском, бывшем Путиловском, заводе «фордзон-путиловец». В Америке купили два «фордзона», разобрали их, скопировали, кое-что придумали сами, и начался выпуск серии. Событие было — не передать. Электроэнергии не хватало, так, чтобы не останавливать другие цеха днем, варили по ночам, когда электричества высвобождалось побольше.

Пробовали мы и так и сяк. Стране до зарезу нужны были трактора. Сам Киров приезжал поглядеть сварку. Как сейчас помню его

лицо — открытое такое, свое. Очень он волновался. Сначала не получалось у меня ничего, а потом — пошло дело. «Ура!» кричали и даже качали меня... Все-таки сварил ось первого трактора. Вместо трудоемкой ковки, как обычно, — сварка. До этого путоловцы варили только мост Лейтенанта Шмидта, бывший Николаевский, когда пришлось для прохода крупных судов делать раздвижную часть моста. С моей, можно сказать, легкой руки наш завод выпустил с двадцать четвертого по тридцать девятый год сто двадцать пять тысяч штук тракторов. — Петр Иванович помолчал, что-то припоминая. Лицо было доброе, грустное. — А вот в Отечественную войну я танки ремонтировал в Сталинграде на территории знаменитого Тракторного завода. Туда стаскивали все подбитые машины, а мы чинили. Срезал я броню с одного танка и переставлял на другой. Трудная работа, медленная. А командование требует: «Давай, давай быстрее». Я придумал двойные резаки — научился работать двумя руками сразу. Да, времечко было, — вздохнул Петр Иванович и продолжал: — Однажды вызвали меня в политотдел и сказали: «Наступление близко, каждый танк — залог нашей победы, надо отремонтировать вдвое, втрое больше танков». Я и говорю: «И так работаю по пятнадцати часов не отходя...» А мне говорят: «Ничего, дорогой, всем трудно, поработать надо столько, сколько требуется».

С утра до вечера я стоял на морозе, на ветру и резал, резал броню, срезал ее с безнадежных танков и приваривал на те, что мы восстанавливали. Даже есть не мог, аппетит пропал от усталости. Ноги и руки обморозил, чуть не пропал совсем. Сделал я, что смог. Орден дали, в лазарете отвалялся с полгода. Пальцы ампутировали на ногах.

Петр Иванович постучал сапогом о сапог — ничего, приходился...

— После Сталинградской победы послали меня в тыл, сюда, на Алтай. И велели мне посреди пустого поля завод организовать, чтобы трактора могли мы ремонтировать. Тогда тяжело было одинаково, что на фронте, что в тылу. Большинство тракторов за одну только зиму испортилось, вышло из строя. Умелые трактористы воевать ушли, а их место заняли женщины да дети. Самый главный был тогда для нас приказ — создать завод по изготовлению радиаторов. А рабочую силу дали мне — смех и горе! — мальчишок и девчонок, с ними строить, их обучать, им и продукцию выпускать на всю страну. Морозом все радиаторы разорвало. Дело к весне, а пахать нечем. Хоть умри, а сделай. А мой рабочий класс — от четырнадцати до семнадцати. Чего-чего только не было, опускаю я это, не передать...

Петр Иванович снова помолчал, покурил, покашлял.

— А все же через несколько месяцев начали мы давать первые радиаторы — у завода еще крыши не было, а мы уже варили, выполняли план. Радиатор весь из трубок, их там тысячи, все тонкие, чуть чего — прожег, работа ювелирная, а варить, паять надо и на холоде, на улице, девичими нежными руками... И давали мы все, что от нас Родина ждала. Знали все, какая от нас польза, старались... Нет предела моему уважению тем девчонкам и мальчишкам, что работали тогда со мной. Они помогли стране в насущнейшем — вырастить хлеб.

Когда я сам учился в ремесленном училище, уже находились ребята, забывшие голодную пайку хлеба, они бросали в столовой целыми куска-

ми друг в друга, «пуляли хлебцем», как будто это были комки грязи. Болела душа, хотелось наклониться, подобрать и съесть брошенный кусочек, а того, кто сделал это, проучить.

Позже хлеб стали резать в столовых вдоволь. На столах в тарелках он лежал и черствел толстыми кусками. Его смахивали в помойные ведра, скармливали скоту, а хуже того — выбрасывали в отходы. И даже мне почти что не стыдно было за такое отношение к хлебу и не страшно за каждый завтрашний день, я был уверен: хлеба всегда вдоволь. Если мое отношение было таким, то что же говорить о тех, кто и не ведал голода. К сытости люди, к сожалению, привыкают быстро, хоть, конечно же, не хлебом единственным жив человек.

Ремесленные училища многих из нас выкорамили, обули, одели, помогли стать на ноги. Ремесленные училища и детские дома.

В трудные минуты кусок хлеба становился не раз мерилом человеческих отношений.

Не забыть мне одну из самых подлых игр, какая была в нашем детском доме, — «магнит». Договариваешься с партнером на правую или левую руку, чтобы подловить его, когда он зазевается. Возьмет он, допустим, в левую «магнитную» руку кусок хлеба — ты крикнешь ему: «Магнит!» — хлеб твой. Взял в «твою» руку партнер плошку супа — он тоже твой. Коснулся плошки обеими руками — половина еды твоя. Многие рассчитывали поживиться за чужой счет во время «магнитной» эпидемии, забывшись и не понимая, что от нарушения законов общей справедливости всем плохо.

Самым хитрым и ловким в игре оказался долговязый главарь наших «старианов» по прозвищу Клешня, он как будто бы сам первый и «запустил в ход» это подслеживание.

Через неделю-другую мы все ему были должны: кто три пайки хлеба, кто ножичек, а кто-то, не в силах отдать долг натурой, обязан был прислуживать ему. Клешня посыпал, бывало, темной ночью кого-нибудь из нас воровать семечки в татарском ауле.

Все обозлились на него, даже ближайшие дружки Клешни. А чем возьмешь «короля», у которого все в долг и который к тому же сам устанавливает правила поведения в группе — что позорно делать, а что нет... Его «авторитет» среди пацанов был выше воспитательского. Боялись, унижались, а терпели.

Кто-то обнаружил, что матрац Клешни забит сухарями. И это когда мы все голодали, отдавая ему последнее. И это когда каждая пайка — кровная, самая драгоценная мечта дня. Он, Клешня, спит на хлебе, а мы животы поджимаем! Он покупает нас нашим же хлебом, который мы со слезами отдаем ему, оставляя себе только запах поджаристой корочки или чуток довеска. И это переполнило меру терпения.

Клешня — крохобор! Клешня — вымогатель! Долой Клешню!

Мы орали, били его. Это была самая большая наша ярость за все годы. Мы били его по-настоящему, пока он не взмолился, пока мы не услышали в его голосе то жалобное, что было в наших голосах, когда мы канючили: «Клешня, может, потерпишь с паечкой, а? Клешня, ну потерпи, а? Хлебца хочется, потерпи, а? Я тебе потом полторы отдам...»

То ожесточались, то размягчались наши сердца. Порой через острую боль, стыд в нас пробуждались доброта и совесть. Никогда не забыть, как мы расстались с нашим быком-водовозом по кличке Яшка.

Дядя Семен каждое утро впряжен в телегу с бочкой. Наладит, как надо, сбрую, возьмет вожжи в руки, подергает их и негромко скажет: «Ну дак поехали, дело не ждет».

Яшка начинал свое дело враскачуку, вяло. Долго шагал без всякого желания, пока не выбирался за ворота детдома к спуску под гору. Телега, погромыхивая и поскрипывая, толкала его к реке. Яшка упирался, мотал головой, помахивал коротким черным хвостом.

Дядя Семен шел рядом с бочкой, натягивал вожжи, помогал сдерживать слишком прыткую телегу.

Под гору нужно было сползать порядочно, потом начиналась деревня, пыльная улица, дальше река, излучина, пологий берег.

Яшка влезал в воду по самое брюхо, а дядя Семен, стоя на телеге, черпал ведром быструю мутную воду речки. Таких чернавок нужно было пятьдесят или даже больше. Когда бочка оказывалась полной до краев, дядя Семен снова брал в руки вожжи, чмокал губами и негромко советовал Яшке: «Ну дак выбирайся потихоньку».

Яшка с неохотой поворачивался в реке и теперь уже изо всех сил, наутро вытаскивал телегу на берег. Он тянул ее напряженно и без остановки минут двадцать, пока не взбирался на гору к детдому.

В будние дни Яшка привозил воду только для умывальников и для столовой. Дела немного — один-два рейса, не больше. Но вот по субботам, в банный день, Яшка трудился с утра до вечера.

«Ну дак уработал я тебя?» — говорил дядя Семен, распрягая быка и хлопая его по ребрам. Яшка мотал головой, шумно сопел, забирался в свой мокрый нос гибким шершавым языком. В черных бычьих глазах не было ни бодрости, ни усталости.

Дядя Семен провожал Яшку до выгона, на поляну за двумя покосившимися амбарами, долго стоял там и разглядывал траву, потом поднимал голову, смотрел на небо и в даль, где выселись горы — покатые отроги Уральского хребта.

«Ну дак ладно, попасись тут маленько», — говорил он, прощаясь.

Детдомовские мальчишки давно уже привыкли, что быка нельзя ни дразнить, ни перегонять с места на место. Дядя Семен хоть и добрый, но увидит такое — уши надерет. Яшка всегда гулял сам по себе, маленький, комолый, безразличный ко всему. Он работал, ел и спал.

Так было все пять лет, пока шла война, пока мальчишки и девчонки ждали своих родителей, пока однажды на радостях, в свой день рождения, не разрешил дядя Семен съездить мальчишкам за водой к реке.

Мальчишки облепили бочку, набилась целая телега. Яшка шагал привычно, раскачиваясь и не спеша. А когда телега покатилась под гору, бык тоже привычно стал упираться. Но кто-то закричал: «Эгей, ленивый! Гони под гору!»

И сразу закричали все мальчишки, засвистел и заорал самый главный из них, тот, кто был кучером. Он хлестнул Яшку вожжами, и телега покатилась быстрее.

Потом она покатилась еще быстрее и еще. И вот уже понеслась, подпрыгивая и погромыхивая бочкой. Яшка бежал неуклюже, широко разбрасывая ноги, задрав голову. А мальчишки орали, их радовала скорость.

Уже под горой Яшка вдруг споткнулся и упал. Оглобли уперлись в землю. Мальчишек вышибырнуло из телеги вместе с бочкой. Хорошо, что вдоль дороги рос высокий бурьян. Все отделались синяками и цара-

пинами. Яшка тоже, кажется, упал удачно. Когда бочку снова положили на телегу, он два раза сходил к реке и обратно, прежде чем отправиться к своему выгону, к весенней первой травке.

Дядя Семен отругал мальчишку и потом долго еще не мог успокоиться. Сердито он рубил дрова для кухни, чистил сарай, в котором стояли бык-водовоз, овечки и старая лошадь; необычно громко, просто оглушительно стучал он колотушкой ночью, отгоняя от дома изголодавшихся за зиму волков.

Утром все узнали, что Яшка захромал. К обеду он уже не мог ходить. Лежал в траве на боку, выставив переднюю ногу. Он и голову положил на землю так, что виден был только один глаз — большой, черный, влажный.

Дядя Семен угрюмо ходил по детдому — ни с кем не разговаривал, ни на кого не смотрел. Уже под вечер он подошел к Яшке, стал перед ним на колени, осторожно помял вспухшую ногу, медленно поднялся и, не распрымляя синны, пошагал к директорству.

Яшку решили умертвить в тот же вечер.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло», — сказала дородная тетя Ульяша, главный повар. Она пообещала всем праздничный ужин.

Мяса в детдоме не ели давно. Все каши да каши, да кислые щи. А к весне и этой еды не хватало вдоволь. Однажды, когда заболело сразу семь человек, дядя Семен пришел с двустрелкой к деревянной школе и долго стрелял в диких голубей. Они жили на крыше. Всполошенные выстрелами, голуби летали кругами, а дядя Семен барабанил в них и барабанил. Больным нужен был наваристый бульон.

Кто-то закричал: «Вы бы лучше в своего Яшку пальнули!»

Дядя Семен опустил ружье и больше не выстрелил ни разу.

Запах голубиного супа разносился по всей столовой и, кажется, по всему дому. Все, кто был здоров, завидовали больным. В тот же вечер все вспоминали свою хорошую довоенную жизнь и мечтали о том, как они будут жить, когда придет победа и родители вернутся с фронта.

Дядя Семен не стал резать Яшку сам. Он привел из поселка двух рослых мужчин, показал им, где лежит бык, походил вокруг Яшки, поскребывая свою растрепанную, уже седую голову, сказал какие-то слова незнакомцам, махнул рукой и ушел к себе в маленькую бревенчатую сторожку.

Все было кончено еще дотемна. Пятнистая шкура Яшки сохла на заборе перед сараем. Невдалеке стояла телега с бочкой. Оглобли упирались в землю.

Розовая бычья туши висела на двух крюках перед входом в один из амбаров.

Подошел дядя Семен, посмотрел на туши, склонился над ведром, в котором лежали всякие бычья внутренности, достал сердце. Оно было похоже на гранату-лимонку. Дядя Семен долго держал сердце на широкой своей ладони, разглядывал его и вдруг иробурчал обступившим ребятам: «Пять лет нам воду возил. Как ты вот его съешь? Никак».

Дядя Семен взял лопату и пошел за амбар закапывать Яшкино сердце. Мальчишки и девчонки пошли за ним.

Посреди поляны за амбарами торчал колышек с огрызком веревки. Дядя Семен подошел к нему, раскачал, выдернул, стал выкапывать ямку лопатой. Он делал это не спеша, основательно, аккуратно, как и все,

что приходилось ему делать обычно. Седые длинные волосы спадали на лоб, спина не разгибалась, руки, кажется, без всякого усилия вгнояли лопату в землю. Мальчишки и девчонки стояли вокруг, никто не толкался, не задавал никаких вопросов — все, кажется, впервые поняли, что Яшки уже больше нет.

Ямка оказалась широкой и не мелкой.

«Посадим дерево. Пусть еще лет сто проживет», — сказал дядя Семен. Яшкино сердце он завернул в белую тряпицу и, осторожно опустив на дно ямки, присыпал его землей.

Да, все познается в сравнении. Когда мы в нашей спальной комнате сдвигали пятнадцать коек, чтобы полушепотом рассказывать друг другу о сырной довоенной жизни, многие врали, что вместо хлеба ели шоколад. А я говорил, будто в Ленинграде так много машин, что, стоит только спустить ногу с панели, сейчас же отдавят.

Пять с половиной лет мы, дети, были неразлучны — учились, работали на подсобном хозяйстве, дрались, дружили. Хватало на всех немного сладкого, больше соленого да кислого или горького житья. А чтобы нам было повеселее, играли в лапту, в пристенок, в «маялку» — кто больше подкинет ногой монетку, завернутую в тряпочку. Находились большие мастера, подбрасывали по тридцать, по сорок раз, не роняя на землю. Играли в кучу малу, в чехарду, бывали и жестокие игры.

Однажды я начал писать стихи. Родились они от боли, обиды. Как-то мальчишки решили надо мной подшутить. Встав в круг, они принялись отталкивать меня друг от друга, приговаривая: «Ищи пятый угол, ищи пятый угол...»

В кругу, как известно, нет углов, да и в комнате их четыре только, вот и получилось, что пятый угол — это безвыходное положение, из которого все-таки надо найти выход во что бы то ни стало.

Меня начали толкать, но я рассвирепел и выбрался, пробился к двери, убежал в поля, к отрогам Уральских гор — они окружали детдом со всех сторон. Красивые у нас были места.

Обида жгла меня, душила, я жаждал отомстить моим обидчикам. Но как? Чем? Больших кулаков у меня не было, да и что толку, будь они у меня, — всех на бой не вызовешь. Мучительное чувство — унижение, я страдал, ходил, думал: «А если все сказать воспитателю? Нет, будут презирать потом товарищи. Но какие они мне товарищи? Нет, все равно... А если поджечь солому — да в окно ночью, в спальню комнату, — пусть задохнутся. Ну, это уж слишком. Надо доказать, что я не хуже их, а лучше, — вот мое спасение. Только чем докажешь, как? Что толку, что я по вечерам придумываю и рассказываю всякие страшные сказки с продолжением и счастливым концом, знаю много стихов, особенно Пушкина».

И вдруг пришло в голову такое! «Вот стану, как Пушкин, напишу про вас всех, тогда узнаете». Это ошеломило меня. Пушкин был самым солнечным, самым любимым, самым недосягаемым человеком на свете и в тоже время родным, своим, как будто бы каждое его стихотворение я сочинил сам.

Решил немедленно стать поэтом. Иногда все кажется по плечу, даже невероятное. Я начал сочинять про моих обидчиков что-нибудь позлее.

Сочинял, сочинял — злого ничего не получилось. Но что-то такое, необычное, когда слова по-особому играют и поются, вышло. Сочинил я восемь строк про красоту Уральских гор, про солнце и цветы, слова так соединились вместе, что я невольно стал произносить их громко вслух, потом петь, потом все громче, громче, я прокричал мое стихотворение, а потом стал шептать и снова петь... Свершилось какое-то чудо, и сам я был волшебником, всесильным чародеем, которому ничего теперь не страшно.

Все обиды мои отлетели. «Чего спорить с ними, ссориться... ведь это я стих сочинил. Прощаю всем моим обидчикам. Они же не могут стихи писать...» Помнится, горячо, просторно, спасительно мне было на душе тогда. И еще меня спасало колесико. Я любил мое колесико. Сам его сделал. Отпилил от сухой елки кругляшок, снял кору, обрезал самодельным ножичком зазубринки, острые края колесика, осторожно с помощью тяжелого голыша прибил его к длинной, тоже хорошо обструганной палке ржавым, где-то в пыли найденным гвоздем, который я хранил в тайнике до случая, так и получилась самая драгоценная моя игрушка — колесико.

Я взял колесико в правую руку и сначала задворками, чтобы никто не увидел, а потом по главной дороге от детдома в город пошел за ним, и мне казалось, что мое колесико укатит меня далеко-далеко, куда бы могла уехать машина, если бы я был шофером, или паровоз, если бы я был машинистом.

Крутилось, вертелось передо мной колесико, перепрыгивало через камешки, которые казались мне большими, как горы, торопилось мимо весеннего, еще тоненького, бледно-зеленого ковыля, который был не ковылем вовсе в моем воображении, а высочайшими деревьями, и кузнечики были не кузнечиками, и цветы не просто цветами, и я был совсем не я, а великан в стране лилипутов, и нужно было сейчас же спешить, чтобы спасти кого-то, кто очень ждет меня с моим грозным, как танк, колесом.

Колесико детства — волшебная самоделка. Оно круглое, как подсолнух, веселое, как солнышко. По каким только извили пыльных и узких троп оно не катилось — то в прошлое, то в будущее. И через пустыни, через моря идти за ним нипочем.

Катилось, катилось мое выручальное колесико, преодолевая зыбучий песок и вязкую грязь, спускалось в овраги, поднималось на горки и горы.

Колесико, колесо... С тобой было легче и песни петь, и слезы лить, и верить, что там, за поворотом, — счастливая неизвестность... Катилось, катилось колесо...

Когда кончилась война, за мной приехал отец. Из детдома мы уходили через старинные кирпичные ворота, на которых сидели мои товарищи, кричали, прощались, а я шел по пыльной дороге, стараясь приспособиться к шагу отца. Впереди радостно бежало мое колесико.

Потом было много дорог. В самых разных городах и селах отец вместе со мной искал счастья: то плотничал, то работал сварщиком, то печи клал — за это нас, бывало, хорошо кормили, — то песни пел, народные, ямщицкие: «Вот мчится тройка почтовая» или про колокольчик — дар Валдая. Пел отец в театрах и в клубах под гитару, играл хорошо, мастерски. Отец был мастером на все руки. Он хотел, да не смог скопить денег, чтобы вернуться в Ленинград. Он умер в Прокопьевске,

угорел, когда мне пошел тринадцатый год. Тогда ко многим в эту пору приходило взросление вдруг, разом. Я остался один среди незнакомых людей с моим неразлучным колесиком. Катилось оно, катилось... Судьба передавала меня из рук в руки, не все были добрыми, но я прощил всем, кто обидел меня вольно или невольно, и благодарен до сих пор каждому, кто помог, выручил в беде.

После смерти отца снова были детский приемник, детдом. Я два раза убегал из него. Хорошо помню многолюдные вокзалы, где ворото шныряли между пассажирами мальчишки-беспризорники, подавшиеся, как и я, к своим, на родину, или поближе к теплу, к сытному фруктовому югу.

Дороги, дороги, они выстраиваются передо мной, как сама жизнь, катится мое колесико, катится...

Теперь уж много тысяч километров на велосипеде, на мотоцикле проехал я по стране — все республики Советского Союза объездил за одно только лето в шестидесятом году. Но детские мои пути-перепутья незабываемы, время от времени они пересекаются с новыми маршрутами, напоминают о былом.

Весной 1982 года я отправился по командировке Союза писателей в Забайкалье. Поезд долго вез меня через Россию. Где-то невдалеке справа бежали дороги, по которым я ехал на велосипеде от города к городу, от села к селу. Слева тянулись автомобильные трассы, их я одолел на мотоцикле с коляской. Сам поезд постукивал колесами по тому пути, который памятен мне особо. По этой железной дороге мы уезжали с матерью в эвакуацию, в Ишимбай, где она умерла. А дальше, в Прокопьевске, тоже неизвестно на каком кладбище, — могила отца. Между двумя этими горькими и дорогими для меня могилами находился мой детдом, были «бега» в товарняках в сторону... надежд на счастье.

Как будто что-то подтолкнуло меня, когда скорый поезд Ленинград — Иркутск остановился ночью на одной из станций. Я вышел из купе, увидел в сыром тумане зеленые неоновые буквы над одноэтажным, ничем не примечательным вокзалом: «Тайга». Прильнул лбом к стеклу. Сердце заныло. Прошлое заговорило со мной...

Наша любимая воспитательница Антонина Акимовна была в тот день с напомаженными губами, в нарядной белой кофте и серой юбке. Девочки шептались, что к ней жених приехал. А нам-то что, к нам никто не едет, и одеты мы во все старое, одинаковое.

Но впереди праздник, и мы к нему готовились в большом зале перед столовой. Играет слепой аккордеонист с орденами на груди.

Антонина Акимовна хлопнула в ладоши и громко крикнула:

— А теперь танцуем падекатр. Мальчики, встаньте в позу, девочки, сделайте реверанс. На-ча-ли. И-и-и раз., два, три, четыре... Галантнее, галантнее, кавалеры... Девочки, держать спинку!

— Хочешь, я тебе огурцов наворую? — полушепотом спросил я свою партнершу, Любу Андрееву, единственную девочку, которой почему-то сохранили в детприемнике косы и разрешили носить голубой берет.

— А где? Где наворуешь? — сделала она страшные глаза.

— На станции, где же еще. У смотрителя в парниках.

— Дурак, поймают. В колонию сдадут. Домой не поедешь.

Это была для меня самая серьезная угроза. Воспитательница обещала, что, как только ей дадут отпуск, она возьмет меня с собой в Ленинград, отвезет к родственникам. Хорошо, что они уже прислали вызов. Каждый день теперь для меня как целый год. Хожу по пятам: не уехала бы вдруг без меня. Но что-то еще было в моей душе, какое-то нежное, щемящее чувство к Любке Андреевой, что я готов был на все, лишь бы она сказала: «Укради, я так хочу огурцов...»

— Ерунда, не поймают, — махнул я рукой. — Как стемнеет, принесу, свеженьких похрустим...

— Не разговаривай, ты это что?! — рассердилась на меня Антонина Акимовна. — Так никогда ты и не выучишь этот замечательный французский танец, останешься невеждой.

Я не знал в полной мере, что такое «невежда», но меня разозлило это слово. Подумаешь, «не-веж-да».

Почему я должен был ходить перед Любой этаким павлином, вышагивать, приседать. Зачем это все для нас, детдомовцев.

Французский танец не получался не только у меня одного. Воспитательница рассердилась еще больше.

— А теперь танцуем вальс. Великолепный вальс... Раз-два-три... раз-два-три... Мальчики держат руки на талии своих партнерш и кружат их... И-и-и раз-два-три...

Я сделал все как надо, дернулся вправо, потом влево — и наступил Любке на ногу. Она закричала:

— Дурак, медведь, уйди! — ударила меня в плечо и отбежала, как от чумного. Я разозлился и дернул ее за косу. Она снова закричала и опять толкнула меня в плечо. А я снова дернул ее за косу.

— Прекратить! А ну — в карцер! Посиди там, поостынь.

Антонину Акимовну я не мог ослушаться. Если она откажется взять меня в Ленинград, я просто умру. Я больше не могу тут жить со всеми этими падекатрами, с едой досыта, с белыми простынями на койках. Ничего не надо мне, никакой заботы, только бы домой, к своим.

Изолятор, или, как мальчишки называли, кандей, был в конце коридора и налево за туалетом. Холодная, каменная комната с кроватью и тумбочкой, с маленьким окошечком во двор, с решеткой на окне, которую кто-то отогнул в одном месте.

В первые минуты я не понимал, что же со мной происходит. Было стыдно, но я храбрился.

Пришли боль, одиночество, я вспомнил, как умирала мать, это было зимой 1942 года в Ишимбае, куда мы приехали из Ленинграда к отцу. Его не взяли на фронт, потому что он строил завод, был сварщиком. Мы, изголодавшиеся, измучившиеся за три недели пути, стали жить вместе с отцом в общежитии.

Мать заболела и слегла в первые же дни. Это была дистрофия. Ничем никто не смог помочь. Через неделю она умерла.

За несколько минут до смерти, лежа на кровати, покрытой белой простыней, глядя на меня горящими беззащитными глазами, она с тяжелым придыханием говорила: «Будь ласковым с людьми, добрым, тогда они тебе помогут, сынок...» Я это хорошо запомнил. «Как же это... как же это... Ты, сынок, совсем один...» И вдруг стала сдавливать горло руками, будто сама себя душила. А вокруг в деревянном доме,

в комнате, наполненной утренним светом — солнце пробиралось через морозные стекла, — стояли люди, и не двигались, и ничем не могли помочь...

Я все вспомнил, все встало перед глазами. И отец, упавший на колени перед матерью, когда она затихла, и его рыдания и мольба простить за все...

А еще через несколько дней мы прощались с отцом. Он сидел передо мной небритый, измученный, гладил меня по голове и говорил: «Прости, сынок, прости и запомни: у тебя есть родственники в Ленинграде, они помогут... Выучи наизусть адрес...»

Я повторял этот адрес чуть ли не каждый день пять с половиной лет, пока был в детдоме: улица Расстанная, дом два, квартира двадцать семь. Серковы.

Родственники помогли мне. Но все было потом, значительно позже...

Поезд медленно, тихо пошел, покатил дальше от станции Тайга, а я все вспоминал.

Я злился на воспитательницу и особенно на Любку, из-за которой все случилось. «Подумаешь, на ногу наступил... Закричала, дура...» Ненависть вспыхнула во мне. «Из-за нее меня вообще могут оставить в детприемнике». И еще я подумал, что она, наверно, нарочно так поступила, она меня презирает, как все девчонки.

«А у тебя под ногтями грязь», — сказала сегодня Любка, когда воспитательница ставила всех по парам танцевать этот... как его... падекатр. Даже отсюда слышно, как топочут ногами в зале. Зачем он мне, для чего все это мне? Убегу!

Но куда бежать-то? Отсюда в Ленинград слишком далеко. Надо дождаться, когда воспитательница пойдет в отпуск, нужно все выдернуть. За плохим всегда идет хорошее, так отец говорил перед смертью.

Я вспомнил, что уж несколько дней не лазал на чердак, где возле печного стояка зарыл бумажник отца с его фотокарточкой и документом о смерти. И еще там был зарыт красный шелковый кушак. Отец купил его вместе с мягким фетром, чтобы настраивать рояли... Он все умел делать, он пел, он был веселый человек, стойкий... и я не пропаду...

И я снова запел. Сначала про Каховку. Воспитательница заставила ее выучить, а сама потом сказала, что у меня нет слуха. Как же нет, когда я, как отец... Я запел еще громче: «Иркутск и Варшава, Орел и Каховка — этапы большого пути...»

Петь расхотелось. Я подумал, что здесь, в детском приемнике, я оказался в положении Дульщика, хоть я тут старше всех. Переросток для детского приемника, как говорит директриса. И все грозится перевести меня в детдом поблизости, в центр города. А вдруг я прогляжу мою воспитательницу и навсегда останусь здесь?

Сердце сжалось от такого предположения. «Что угодно, только не это!» И я стал высиживать время. А потом, чтобы минуты шли быстрее, чтобы никто не называл меня медведем, начал учиться танцевать вальс на шершавом каменном полу изолятора. «Раз-два-три», — говорил я сам себе и кружился, пока не ударился о стенку головой. Посидел и снова начал «раз-два-три» — и вдруг вышло, получилось! И только тогда

я бухнулся на кровать, отдохнул, довольный собой, положил голову на руки и провалился в сон.

Разбудил меня стук в окно. Из полумрака проглядывали через стекло знакомые глаза и расплющенный нос. Я подошел, взгляделся.

— Витец! Дружище!

Что-то говорил он, шевелились губы, рукой размахивал, дергал за раму... Попробовал и я дернуть за раму. Сначала сама собой отлетела решетка: она была, оказывается, вделана в стену непрочно, ее, наверно, расковыряли пацаны еще до меня. Открылось и окно. Еще миг — и я был на свободе.

— Ты че, дурак, заснул! — засипел Витец. — Бежим за огурцами, дежурная ушла домой.

И мы побежали по пыльной дороге к станции, где светились красные, зеленые, фиолетовые огни, чухали паровозы, вагоны гремели сцепками, — эта жизнь станции нравилась мне, я любил ее запах угля и мазута, мне нравился блеск рельсов — они убегали куда-то в жаркие страны, и всем хотелось туда, к солнцу и фруктам... А еще они мчались в самое головокружительное счастье, какое только может быть: домой, на родину.

Грядки с огурцами прятались за высоким забором. Перелезать было так страшно, что казалось, бьется в груди не сердце, а молот. Меж грядок ползли по-пластунски. В шершавой ботве нашупывали холодные и влажные огуречины, совали их за рубахи вместе с комками земли. Сколько я набрал, не помню, я был как в бреду. Когда раздался чей-то свисток — не то паровоза, не то станционного смотрителя, — потом чей-то оклик — сцепщика или хозяина огурцов — я так махнул через забор, что перелетел его, будто воробей, только штаны треснули пополам сзади. И айда галопом удирать. Витец пыхтел за мной.

— Притормози, притормози, огурцы сыпятся, — сдавленно ворчал он.

А я несся, не разбирая ни рябин, ни рельсов, ни крапивы, густо росшей за нашим детским приемником. Только возле окна карцера я перевел дух. Витец подбежал минуты через три.

— Дурак, что ли? Все растряс. Чего испугался?

— Свисток там был. Хозяин вышел...

— Хозяин, хозяин, — был недоволен Витька. — Мало нарвали. А больше случая не подвернется после этого раза. С ружьем станут стеречь.

В изолятор мы не полезли. Пробрались через окно в нашу спальню комнату. В лунном свете увидели койки, глаза мальчишек — все ждали нас с добычей. И вот она — ешьте, братцы-кролики!

Захрумкали, зачавкали, засопели дружки. С подробностями вспоминался набег, каждый припомнил и свои былые подвиги: у кого был взят яблоневый сад, у кого — погреб, у кого — чей-то карман... Кто врал, кто правду говорил — всем верили. Мы были героями, я и Витец, на этот вечер самыми главными из всех. Я забыл обиды, мне было хорошо.

Когда остался последний огурец, я приоткрыл дверь нашей спальни, на цыпочках пошел по коридору к дверям комнаты девчонок. Чтобы дежурная не увидела меня, пополз на коленях. «Вот Люба удивится...»

И вдруг веник, голик сильно шлепнул меня по спине. «Ты куда? Ах ты бесстыдник! Я тебе покажу, как ползать к девочкам!» И снова удар голиком. «Завтра тебе будет от директора, ах ты, бесстыдные твои глаза...»

Я убежал, забрался через окно в карцер, с ужасом стал ждать утра. «Что я могу объяснить? Что огурцы нес? А где взял? Кто поверит, что

просто так полз... Это конец всему». Я готов был выть от непоправимости своего положения.

На следующий день я стоял перед строгой нашей директрисой и выслушивал приговор:

— Я думала, ты хороший парень. Шла на все. Хоть ты и пересток, хоть и положено детям в детприемнике быть не больше трех месяцев, прежде чем их передают в детский дом, — я на все закрывала глаза. Ты настрадался. Тебе домой пора, к своим. А теперь ты вынуждаешь меня принять крутые меры. Да-да, и не отпирайся. Знаю, что ты сейчас скажешь: начнешь крутить, оправдываться... А вот скажи: зачем ты косы рвал девочке? Почему грубил воспитательнице? Она готова была взять тебя во время своего отпуска, увезти в Ленинград, а ты? Она тебя учит быть воспитанным, танцевать падекатр, а ты... это же такой танец, а ты...

— А что я?..

— Ладно, хватит. Все знаю. Почему ты пробирался в спальню комнату к девочкам? А? Что молчишь? А что ты можешь сказать. Переросток ты, в детдом тебе давно пора. Завтра же мы тебя отправим, я договорилась.

Холод и пустота были в моем сердце. Я знал, что уже не могу ничего объяснить, защититься. Участь моя решена. Я готов подожечь весь этот дом, но надо терпеть.

— А меня увезут потом? — едва выдавил я.

— Не знаю, как воспитательница решит... поговорим. Ты думаешь, так просто. Откуда государству на вас деньги брать?

Все-таки оставалась надежда. Хоть крошечная, но все же. Когда мы прощались, воспитательница отозвала меня в уголок и сказала: «Чему быть, тому не миновать. Не огорчайся, я от своих слов не отказываюсь. Когда поеду, дам знать».

Я смотрел на ее губы, накрашенные яркой помадой, в темные ее коричневые глаза и не мог понять, обманывает, успокаивает или говорит правду. Я не мог понять, почему нажаловалась она директрисе. Ведь еще совсем недавно мы сидели в пионерской комнате рядом, она ждала, когда я напишу письмо моим родственникам с просьбой, чтобы они прислали мне вызов.

Это письмо сохранилось. Оно передо мной — пожелтевший треугольник со штемпелями, потертостями: я пальцем стирал буквы, неправильно выведенны химическим карандашом. Адрес написан рукой воспитательницы Антонины Акимовны: «Ленинград, улица Расстанная, дом 2-в, кв. 27. Получить Серковой Зое Ивановне».

Разворачиваю... возвращаюсь в свои неполные двенадцать лет... читаю все, как было написано крупными, неровными, будто пьяными, буквами, трехклассной детдомовской орфографией и пунктуацией... Послание, подобное тому, какое писал чеховский Ванька Жуков.

Письмо пущено 28 августа 1948 года.

Здравствуйте дорогие двоюродные братя и сестры пишу вам свой чисто сердечный Привет и желаю хорошего в вашей жизни Кока Зоя пишу вам свое жизненное несчастье о смерти моего отца Помер он 6 мая 1948 года

Кока Зоя начинается учебный год а я нахожусь в детприемнике. Школы здесь нет и жизнь тут нехорошая прошу взять меня домой. Кока Зоя пиридай привет Кире и брату Вали тети Моти, тете Оле дяди Вани и всем осталым родным и знакомым. Если хотите взять меня напишите вызов и я приеду к вам. Пока писать нечего осталное расскажу когда приеду к вам. Пока досвиданья остаюсь ваш братишко Емельянов Алик. Прошу взять меня домой.

В ту пору я еще думал, верил, что на Расстанной моей улице, в квартире Серковых, все, как было до войны. Светлые комнаты, картины на стенах, среди них картина сестры Киры — она занималась в художественном училище. Висит на специальном крючке, свернувшись как удав, медная бас-труба дяди Вани, дирижера Мариинского театра. На столе белая скатерть, красивая посуда. Нарядная, строгая тетя Оля разливает куриный бульон серебряной поварешкой... Все это грезилось мне долгие годы.

Переезд из детского приемника произошел очень быстро, в середине дня, когда все ушли на прогулку. Немного пешком, три остановки на трамвае — и вот он, новый мой детдом, трехэтажное облезлое кирпичное здание, окруженное серыми деревянными строениями, с покосившимся высоким забором, с жидкими деревцами перед окнами.

На все это не хотелось смотреть, не хотелось ни с кем разговаривать. Я даже обрадовался, когда меня поместили в изолятор на три — четыре дня, — так было положено поступать со всеми вновь прибывшими. В изоляторе оказались еще трое пацанов, их поймали на улице — в бегах к югу. Мы долго не разговаривали друг с другом, каждый угремо ждал завтрака, обеда, ужина, занимался своим делом. Я смотрел в окно. Видел железнодорожную насыпь, время от времени пробегал паровоз с длинным составом вагонов — товарных, пассажирских. Белый паровозный дым напоминал мне многое.

Вспоминалось довоенное, мирное время. Мы живем под Ленинградом, в Суйде, в деревянном своем дачном домике, — его построил мой дед, в честь которого меня назвали Алексеем на счастье. Дед был сначала пастухом в деревне, а потом стал мастером на Балтийском заводе — плотником на стапеле. Всем своим детям он поставил дома.

В сарае у нас коза Манька — подарок старшей сестры матери, тетки Матрены. Меня та коза и выкормила, я был искусственником. Нам было хорошо, тепло, уютно жить в Суйде на окраине поселка: по одну сторону дома — дали, поля с клевером, а по другую сторону — железная дорога. Жили мы трудно.

Однажды отец пришел прощаться, он был в полушубке, с рюкзаком за плечами.

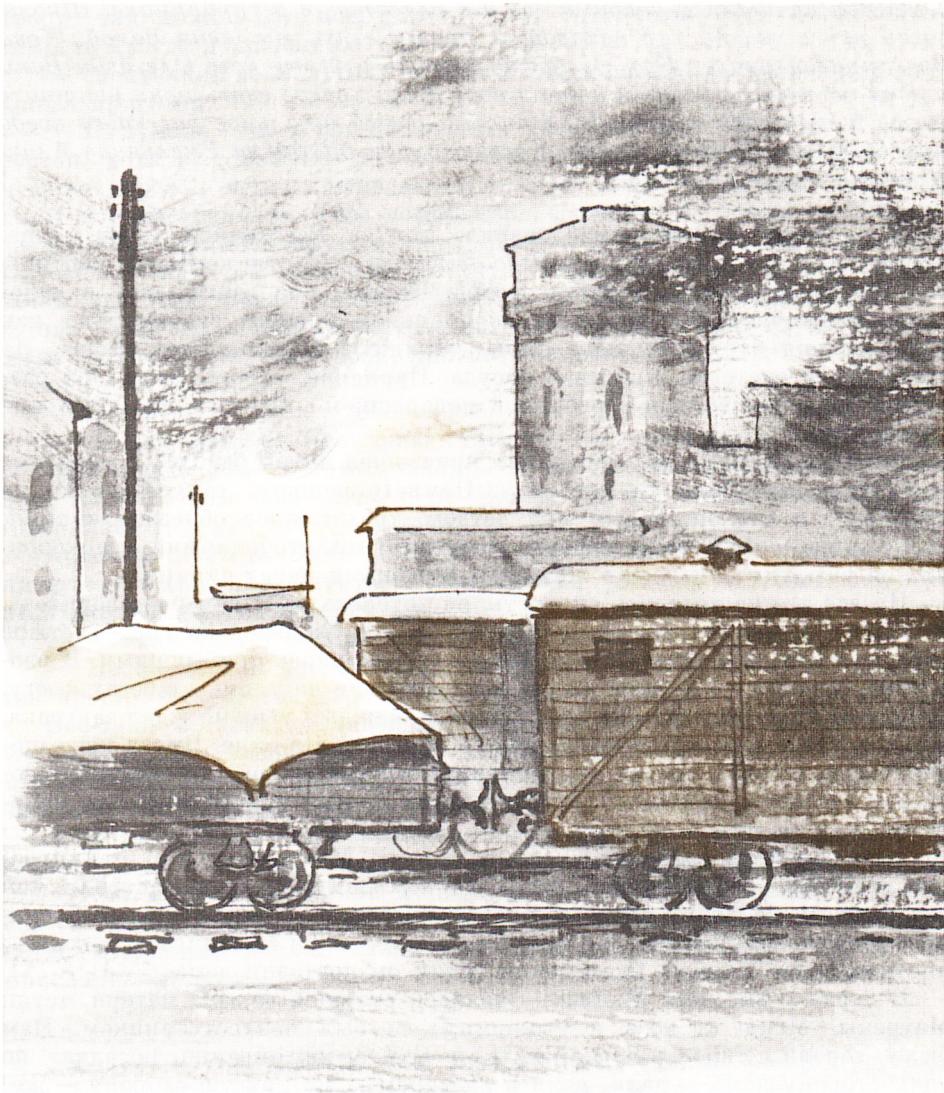
— Вот заработаю много денег — вернусь, — сказал он. — Буду присыпать...

— Сам-то проживи, — заплакала мать и прогнала меня на улицу, погулять пока...

Я побежал к насыпи, чтобы увидеть паровоз. Рядом со мной оказались мальчишка и девчонка. Когда они увидели состав, мальчишка закричал:

— Чур, мой паровоз!

— Чур, мои вагоны! — крикнула девчонка.



Мне ничего не досталось, и я крикнул:

— Чур, мой дым!

— Что твой дым — бесполезный, — сказал мальчишка. — Паровоз вагоны везет — польза.

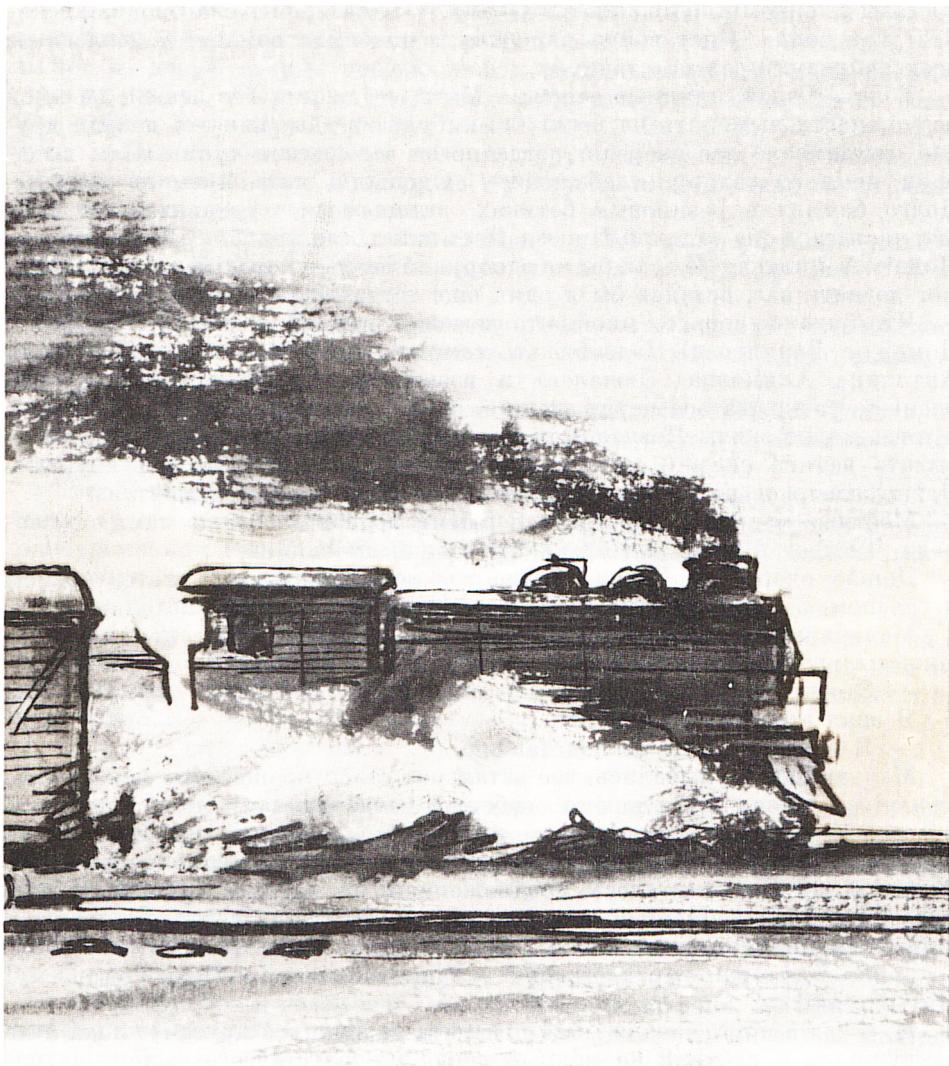
— А в вагонах люди сидят — тоже польза, — похвасталась девчонка.

А мне снова ничего не досталось, и я крикнул:

— Зато дым красивый!

Дым клубился над паровозом, медленно взлетал в морозное солнечное небо.

Вот и здесь теперь он летит, вьется за паровозом, за товарняком, бесполезный и прекрасный дым, не радует, не спасает.



В таком вот поезде, товарняке, ехали мы с матерью в эвакуацию в сорок втором. Сначала была холодная Ладога, мятущийся мокрый снег, толпы людей на берегу... мать в суматохе потеряла все вещи... а в небе шел бой наших «ястребков» с «мессерами». Я смотрю в небо, и вижу только скрещенные лучи прожекторов, и слышу: «Бомба баржу с людьми потопила...» И плач, и крики детей, женщин, стариков.

А потом — тесный товарный вагон. Тюки, чемоданы вдоль стен, а на них — дети, женщины, старики... Посреди вагона железная печурка, на ней кипятят воду, сушат вещи... Вагон подрагивает на стыках, долго-долго плется куда-то в тыл, гудит паровоз, вьется за ним дым на поворотах. Степи, леса, реки, поселки, города навстречу... И товарные

составы с танками, пушками, солдатами. «Пусть ярость благородная вскипает как волна. Идет война народная, священная война», — неслось из всех репродукторов на станциях.

Толпы людей, длинные очереди. Мать, оставшись без вещей, не имея возможности выменять на вещи что-нибудь из еды, как это делали другие, выстаивала все очереди, когда поезд загоняли в тупик. Нам выдавали немного сахара, хлеба, жири. Однажды мать чуть не отсталася. Долго бежала в резиновых ботиках, истощенная, худенькая, изо всех сил настигала она уходящий поезд. Весь наш вагон кричал: «Давай скорее, Поля!» А я плакал. И если бы не однорукий солдат, который спрыгнул, помог догнать нас, остался бы я один еще тогда посреди дороги...

Что будет теперь со мной, кто поможет мне? Только родственники... Домой, в Ленинград! Надо бежать самому. Вдруг все же возьмет меня Антонина Акимовна. Пожалеет и возьмет... Потерплю. Главное — не очень-то раскрываться перед здешними мальчишками, быть сдержаным, и тогда можно жить. Познакомлюсь постепенно, буду им вечерами рассказывать всякие сказки, истории, как было там... Стихи свои почитаю. Давно что-то не писал их. С тех пор как отец умер, не пишутся.

Местные мальчишки решили первыми познакомиться с нами по очереди. Те двое, Витъка и Колька, пришли им вполне.

Дошла очередь до меня. Тайно мы встретились в туалете, мокром и грязном, с черными обводами от зажженных спичек на потолке.

Мальчишки окружили меня, устроили экзамен. Один протянул ладонь тыльной стороной вверх.

— Это что означает?

Я знал эти правила.

— Я врагам спины не подставляю.

Мальчишки заулыбались, все остальное стало проще. Мне показалось, что они приняли меня как-то особенно, когда узнали, что я еще умею рассказывать сказки и всякие истории с продолжением. И чтобы еще больше понравиться, я попросил у самого главного волосок с головы. Это у нас в детдоме считалось предложением на вечную дружбу, и еще надо было обвить мизинец с мизинцем и подергать. Но лица мальчишек вдруг изменились, стали злыми.

— В «шестерки» предлагаешь? — закричали они. — Пятый угол ему! Пятый угол!

И, встав в круг, начали меня швырять от одного к другому, пока я не закружился и не упал на мокрый вонючий пол, другого выхода из положения у меня не было. Мальчишки еще пнули меня по разу и оставили лежать.

«Теперь я стану здесь, как Дульщик! Все будут меня унижать, презирать». Эта мысль была мне невыносимее боли от пинков. Я решил бежать. Немедленно.

Никогда больше я не бегал так быстро. Я несся по грязище, размешанной после дождя машинами и телегами, петляя по незнакомым улицам, неся в сторону станции, пока не задохнулся. А когда пришел в себя, подумал, что надо теперь прийти в детский приемник, забрать отцовский бумажник на чердаке — там еще есть немного денег — и погдаться в бега в сторону Ленинграда. Как нужны мне были теперь мои родственники, я остался совсем один. Так же вот, как и после смерти отца. Совсем один. Кто мне поможет?

Возле детского приемника я долго поджидал своих пацанов. Все тут мне было уже по-особенному дорого. Мое, да не мое. Столовая, турникет во дворе, старые деревья перед парадным входом, окно в спальню комнату, а вон — в изолятор... «Раз-два-три... Вот тебе и вальс, вот тебе и падекатр... французские манеры... Вот если бы Люба захотела со мной убежать... А что? А вдруг согласится?» — неожиданно пришло мне в голову, и на душе потеплело, ничего стало не страшно, как будто она уже согласилась.

Знакомые мальчишки, особенно Витек, узнав, что я убегаю, вытащили мне кто сухарь, кто припрятанный до случая кусок сахарау. Даже галоши отдали на обмен в дороге.

Когда я издали увидел Антонину Акимовну, хотел было подбежать к ней, умолить увезти меня поскорее. Остановился: а вдруг выдаст — вернут в детдом. Ни за что.

Люба отказалась ехать со мной, попрощалась холодно. Только напоследок сощурилась, качнула косичками и прошептала: «Смотри не пропади, я буду вспоминать». И ушла.

Вот и все, я теперь один, и все четыре стороны передо мной. Куда хочу, туда и поеду. От этого чувства свободы мне было хорошо и тошно одновременно. Надо было выбирать, куда податься. Всюду были незнакомые люди, места, огромные расстояния.

Всю безмерность этих расстояний я почувствовал только теперь, в сорок семь лет, глядя из окна вагона скорого поезда Ленинград — Иркутск. Расстояния, расстояния, в пространстве и во времени, как они велики... Все спали в вагоне, только один кто-то вышел покурить, а я все вспоминал...

Когда мы переезжали с отцом из деревни в деревню, из поселка в поселок, из города в город, снова убегали куда-то вперед, а вернее, назад, в свою мечту, к домику под Ленинградом, к довоенной счастливой жизни...

Отец завербовался, и мы приехали на стройку в Прокопьевск. Нам дали комнату, хорошую, светлую: отец должен был работать прорабом.

Он привел меня в какой-то Дом культуры, спел там несколько песен, ему шумно аплодировал зал. Потом посмотрели мы фильм «Без вины виноватые». Когда главный герой Незнамов поднял тост за матерей, которые бросают своих детей, я расплакался. Я хоть и не был подброшен кому-то матерью, смерть заставила ее уйти от меня, и все же несправедливость одиночества ребенка сильно отзывалась во мне.

А потом мы пошли домой, разговаривая, вспоминая наш дорогой Ленинград. Отец сказал, что теперь чувствует в себе новые силы, он будет петь лучше, чем прежде, работать больше, чтобы скопить денег на дорогу. И еще он напишет книгу, которую назовет «Со дна». О том, как он выбрался, нашел в себе силы отказаться от пагубного пристрастия к вину. «А твои стихи, сынок, — сказал он, — мы отправим их в газету. Я уверен, что они понравятся всем. Эх, если бы ты еще пел...» В тот вечер он читал наизусть Пушкина: «Татьяна верила преданьям простонародной старины. И снам, и карточным гаданьям, и предсказаниям луны...» Читал Некрасова: «Поздняя осень, грачи улетели, лес обнажился, поля опустели». Отец говорил, что он, несмотря ни на что,

считает себя счастливым человеком: он преодолел все испытания, встретился со мной, нашел меня в детдоме, а это для него большое счастье. И еще счастье, что он умеет петь, что гитара звучит под его пальцами, что может он шуткой рассмешить, согреть людей.

Пришли мы в нашу маленькую комнатку, легли в постель рядышком, прижались друг к другу и заснули: наутро надо было встать раннее.

Когда я проснулся, солнце светило в окно. Меня подташнивало, ноги были как ватные. Отец сполз с подушки, лежал навзничь — на крупном его носе, на лбу в морщинах светились капли пота. Я стал будить его, трясти, потом дергать за уши, он не просыпался. И смутная додгадка, страшное предчувствие закралось в сердце.

Вошла соседка, увидела нас, всплеснула руками, убежала. А вскоре пришли двое мужчин, унесли отца из комнаты, а мне помогли выйти во двор. Я сел на скамейку, окруженную кустарником. Я думал, что отец еще проснется. Тоска сжимала мне душу. Одиночество было со всех сторон: небо холодное, солнце не грело, никуда, ни на кого не хотелось смотреть. «Домой, домой в Ленинград — только там мое спасение».

Подошла какая-то девушка, спросила, почему я плачу. Я рассказал все. Она взяла меня за руку, привела к себе в общежитие, объявила:

- Девчонки, я его усыновляю.
- Как так? Где он будет спать? — спросили все.
- Со мной, — ответила она.

Ей было, наверно, лет двадцать. Как ее звали, не помню. Она оставила меня в ту ночь, мы лежали в одной кровати, нам было стыдно, но мне некуда было деться, а ей нечего было мне предложить лучшего. Спасибо тебе от всего сердца, милая девушка. Ты совершила подвиг — это моя мать послала мне тебя для спасения.

«И теперь кто-нибудь найдется, чтобы спасти меня», — думал я. — Мир не без добрых людей». Но сразу же вспомнил, как на следующий день встретился мне один проходимец. Узнал, что я остался один и хочу ехать в Ленинград, сказал: «Я тебя отвезу. Давай продадим на толчке вещи твоего отца и уедем на эти деньги».

Вещи он продал. И шинель, и гитару, и чемодан. С деньгами скрылся в толпе толкучки. Увидел я его возле вокзала. Он шел пьяный, нес буханку хлеба. Когда мы встретились, оторвал мне кусок: «На, пожги». Хлеб упал в лужу. А я побрел к вокзалу.

Потом были тамбуры, товарняки, случайные компании, друг Генка, с которым мы встретились в одном из поездов...

И вот снова побег, опять надо скрываться от милиционеров, пробираться к своим. Куда, в какую сторону?

На станции в зал ожидания не пошел: там всегда кто-нибудь следит за подозрительными. Пошел по шпалам вдоль товарного состава: надо было найти пустой вагон получше, чтобы отсидеться. Ночью будет холодно, близка зима. Желтые листья всюду, валялись под ногами, ветер сорвал их с берез и с тополей.

Знакомые станционные огни — красный, желтый, зеленый, синий. Где-то здесь невдалеке я рвал с Витькой огурцы. Все было так недавно.

Бот, кажется, и подходящий вагон. Дверь слегка отодвинута. Я толкнул ее посильнее — поддалась. Я запрыгнул внутрь. Пахло лошадиным ду-

хом, в углу в темноте валялось сено. «То, что надо». Я плюхнулся в угол — и вдруг вскочил как ошпаренный.

— Кто тут? — услышал я хриплый голос, потом кашель. Я хотел было выпрыгнуть из вагона, но мне показалось, что я услышал чей-то очень знакомый голос.

— Эй, ты кто?

— А ты кто?

— Никто, в бега подался...

— И я никто, и тоже в бегах...

Теперь я узнал его.

— Генка, ты?!

— Ленька, ты?!

И мы стали кататься по сену, обнимая и целуя друг друга. Не виделись мы почти полгода. Я рассказал ему всю свою историю, он — свою. До юга он не доехал. Много раз ловили его, определяли в детские приемники, а он сбегал.

— А помнишь, Генка, как мы напали с тобой на Моряка, ты еще проигрался, а мне надо было в магазине в карман забраться. Я потом убежал от вас всех.

— Еще бы не помнить... Мы тогда и расстались.

— Я сам отдался, подумал: хватит, пора все это завязывать...

— Да-а, дело было серьезно... Хошь сухарик?

Мы грызли, мусолили один сухарь и разговаривали.

— Генка, а какая твоя самая большая мечта?

Друг помолчал.

— Да, знаешь... раньше была — увидеть бабушку. Она у меня одна оставалась. А теперь — хочу добраться до Парижа.

— До Парижа?! Так ведь это другая страна.

— Ну и пусть. Я всюду хочу побывать.

— Как же ты через границу?

— Очень просто. Сяду в товарняк и уеду. Кому какое дело. Товарняки всюду ходят.

— А если поймают? Там знаешь какие пограничники стоят.

— Не поймают... А уж если поймают... Скажу, что я просто так... посмотреть хотел... нельзя, что ли...

— А кем бы ты хотел стать, когда вырастешь?

— Я-то? Я буду путешественником или капитаном.

— А я, как отец, сварщиком и гитаристом. И еще стихи буду писать.

Вот петь у меня не получается, слух плохой.

— Нет, я хочу объехать весь земной шар, отец у меня был капитаном.

Генка говорил все азартнее, громче. Но вот загремели сцепки, состав дернулся и мы покатили куда-то туда... Прощайте все и Антонина Акимовна. Я сам доеду до Ленинграда, а там, может, с Генкой падамся в Париж.

Долго везли нас поезда от станции к станции. Мы ехали в тамбурах, на крышах, на грудах каменного угля, мы были грязные, голодные, отчаявшиеся. Мы ели что придется: свеклу, брюкву, морковку выкапывали на полях. Пекли картошку в кострах. Мы не хотели примыкать ни к каким компаниям и убегали от милиции. Но мы устали, тяжелая дорога вымотала нас. И все чаще я вспоминал об Антонине Акимовне. «А

вдруг она еще ждет меня...» И однажды, когда мы в который раз улепетывали, я нарочно приотстал, запнулся, шмякнулся на землю. Генка тоже попридержал бег. Мы поддались милиционеру.

На вокзале в милицейском отделении нас обыскали, допросили. Мы не сказали, кто и откуда. Нас заставили раздеться.

— Посидите в камере, — сказали нам. — Вспомните, кто вы такие, тогда оденем и накормим.

Но мы молчали: мы не из таких... Генка сел на каменный пол, вытянул ноги и запел.

— А ну, молчать! — крикнул кто-то за дверью.

Потом забречали ключи, появился на пороге какой-то усатый старый милиционер.

— Ладно, хватит базарить. Вас в детдоме ждут, волнуются, а вы тут блатные песни распеваете. Мы сообщим, за вами приедут.

«Откуда он узнал, как?!»

Генка догадался первым:

— У тебя клеймо на одежде, теперь не отвертимся. Прощай, Париж.

Несколько дней мы жили в специальной комнате при отделении милиции, пока за нами не приехали. Это была Антонина Акимовна. Она обняла меня, прижала: «Ну что же ты не поверил, дурачок! Еще бы немного — и я уехала без тебя». Генка ничего не мог понять. Я потом ему все объяснил, когда мы ехали обратно.

На одном из перегонов поезд медленно шел на подъем. Было темно, дрогорала узкая полоска зари. Антонина Акимовна легла спать, а мы с Генкой стояли. Один чинарик на двоих. Генка подергал ручку одной двери тамбура — закрыто. Подергал другую — растворилась. Ветром и дымом обдало нас.

— Знаешь, Ленька, детприемник, детдом — эта малина не для меня. Подамся куда-нибудь снова. Тебя не зову: ты приехал, все в полном порядке. Скоро будешь дома, в Ленинграде. А меня ждет Париж.

— Ты что, отвалить собрался? Темень, людей никого, куда ты?

— Не бойся, не пропаду, мне всюду лафа. Принеси что-нибудь пожевать на дорогу. Давай-давай, нестрой глаза, неси.

Худенький, заросший, отважный, стоял передо мной Генка. Нигде не унывающий, мечтательный мой друг!

Я понял: мне его не отговорить. Свобода ему дороже всего. Я тихо вытащил из купе две консервных банки, половинку хлеба.

— Еще встретимся, — сказал друг. Он был выше меня на голову, с красивой челочкой над бровями, быстроглазый. Руки тощие, но сильные, — я это знал. Генка ловкий, прыгучий, как кошка. Мы обнялись. Похлопали друг друга по спине — на счастье.

Генка открыл дверь, быстро спустился на нижнюю ступеньку.

— До встречи в Париже! — крикнул он и бросился в темноту.

Где он теперь, мой вольнолюбивый Генка?!

Я был в Париже. Ходил по его как будто бы вечно праздничным улицам мимо роскошных витрин магазинов, уютных кафе, бистро, ел жареные каштаны, сидел на берегу Сены напротив торжественно звучащей музыкой органа, улетающей ввысь готики Нотр-Дам де Пари, вслушивался в немецкую, арабскую, японскую речь туристов среди художников Монмартра, любовался холодной, величавой красотой Венеры Милосской в старом Лувре, собирая желтые листья платанов в Булон-

ском лесу, запрокидывал голову перед Эйфелевой башней; где только я не побывал в многолюдном Париже, но Генку моего не встретил. А я думал о нем, вспоминая наше детство и французский танец падекатр, думал я о неожиданных поворотах судьбы, верил и верю: все будет хорошо, мы еще встретимся — не в Париже, так в Ленинграде, или в Иркутске, или на берегу Байкала, или в Петровске-Забайкальском...

Долго я не мог уснуть в ту ночь в быстро летящем на восток поезде. Оставались позади полустанки, города с электрическим заревом над домами. Все думал, вспоминал тот мой счастливый поезд Новосибирск — Ленинград, в котором мы ехали с Антониной Акимовной. Я тоже смотрел в окно и все ждал, ждал встречи...

Хорошо помню: на площади перед Московским вокзалом было пустынно. Шел мокрый снег, как тогда, на берегу Ладоги, в страшные дни эвакуации. Многое было для меня в этом медленно падающем снеге: довоенный, из далеких снов явившийся Новый год, и яркое, брызгущее лучами утреннее солнце, когда мать металась по белой подушке в предсмертной агонии, и внезапная смерть отца, медлительные день за днем и многолюдные вокзалы, долгий, непонятно почему и кем же так тяжко подстроенный путь жизни, от снега к снегу через шесть лет. Слава богу, не было потеряно по дороге ни нежности, ни доверчивости, ни веры, что теперь-то уж все будет хорошо...

Редкие прохожие шли по Невскому проспекту, по которому еще тогда, судорожно подергиваясь из стороны в сторону, спешили деревянные вагоны трамваев.

Дома стояли понурые, серые, общелущившиеся, еще не успевшие преобразиться после девяноста дней блокады. Лиговский проспект тоже был неуютен, насупленно глядели окна домов, кое-где забитые просто фанерой, чахлые, озябшие топольки жались к трамвайным путям. А на Расточной улице — она идет к Волкову кладбищу... расставание — семиэтажный дом, в котором я родился, был исполосован двумя глубокими трещинами. Когда открыл я тяжелые двери парадного, вспомнился даже удушливо-приторный запах нашей лестницы, увидел я и знакомый лифт, остановившийся когда-то между четвертым и пятым этажами. Квартира оказалась неузнаваемо маленькой, родственники мои — неузнаваемо состарившимися и повзрослевшими.

Черно-белого пушистого кота Марсика не было в доме: он выбежал на улицу в дни самого страшного голода и пропал.

В доме не было ни мебели, ни посуды довоенных времен, исчезла и медная труба, на которой играл дядя Ваня. Я приехал совсем к другой жизни.

Квартира стала тесной, коммунальной, ее давным-давно не ремонтировали: сил ни у кого не было. Кира чуть не умерла от голода, спасла ее работа на заводе. Вышла она замуж за Сергея Кудрявцева, с которым играли вместе во дворе еще до войны. Сергей — веселый, открытой души человек, хорошо умеющий петь, играть на гитаре. Запевалой прошел он с пехотой почти до Берлина. Был ранен, вернулся с одной, но самой почетной наградой солдата — медалью «За отвагу». Кира после замужества рисовать перестала, зато Сергей малярной кистью начал разукрашивать хмурые послевоенные дома Ленинграда.

Кока Зоя тоже вышла замуж. Работала она всю войну на заводе, который ремонтировал корабли. Понравился моей крестной бравый моряк Виктор Кулачок, по гражданской своей специальности слесарь-лекальщик. У сестер уже были дети, Наташа и Лена. У брата Вали родилась Марина.

Теперь половину нашего перестроенного дома занимает одна из самых уютных гостиниц Ленинграда «Южная».

Родственники мои давно переехали из коммунального жилья в новые районы. Там уже воспитываются внуки и внучки моих двоюродных сестер и брата. Их мать, моя тетка Оля, умерла в глубокой старости, пережив блокаду и воспитав трех внучек. Их прадед, муж моей тети, дирижер медной группы оркестра академического театра оперы и балета имени Сергея Мироновича Кирова, ушел добровольцем в сорок втором с ополченцами и погиб в первом же бою под Гатчиной.

Иван Васильевич Серков. Это имя высечено золотыми буквами на белом мраморе в Мариинке, как называют по-старому самый большой театр Ленинграда, которому исполнилось две тысячи лет.

А родной сын Ивана Васильевича, Валентин Иванович Серков, работает на Балтийском заводе вот уже тридцать шесть лет, строит суда, как строил их когда-то и наш общий прадед Алексей Иванович Иванов, бывший мастером плотницкого дела на корабельных верфях.

Его правнук, Валентин Иванович, шагнул далеко. Сразу после десятилетки, в сорок первом, после недолгого военного обучения в чине младшего лейтенанта ушел на фронт сапером. Провоевал всю войну, был много раз награжден, ранен. Попадал из пекла в пекло, выжил чудом. Говорят, что саперы ошибаются только раз, — не ошибся. Помог характер. Вот эпизод войны, какой я узнал недавно от скромного, больше по-малкивающего моего брата, — разговорился он случайно, в день рождения.

Молодому, еще необстрелянному офицеру дают несколько бойцов и приказывают разминировать участок поля, расположения мин которого никто не знает. Надо действовать на ощупь, едва дыша.

Разминирование началось лежа. И вдруг налетают «мессеры». Паника, все бегут врассыпную. Двое подрываются на минах. И тогда младший лейтенант Серков кричит: «Стой! Кто хочет выжить — ко мне, за мной...» И под обстрелом, медленно, на ощупь он прокладывает коридор, по которому выводит оставшихся бойцов целыми, невредимыми. Так с этими бойцами он и довоевал до 9 мая 1945 года.

Вернулся домой на Расстанную в чине капитана с котелком и ложкой. Отдохнул немножко, устроился на Балтийский завод, женился на той, которую любил еще до войны, пошел учиться дальше. Все вечера и ночи просиживал за тусклой лампочкой в углу за столиком, над которым висела фотография его отца — крепкого, веселого, надежного человека, погибшего смертью храбрых.

Валентин Иванович Серков был отмечен на заводе как один из опытнейших специалистов, его назначают главным технологом машиностроительного отдела еще до окончания института, он и по сей день работает в этой должности. Много кораблей, в том числе и атомные ледоколы, спущено на воду при непосредственном его участии. А когда нужно было разработать технологию установки памятника блокадникам на Московском проспекте при въезде в город, ответственное и почетное дело поручили именно Валентину Серкову, коренному ленинградцу, защитнику

Родины с первого до последнего года войны. Недавно он возглавил Государственную комиссию, которая проверяет надежность, качество всего судостроительного и портового оборудования страны.

Как-то я выступал перед учащимися 14-го профессионально-технического училища. В уютной библиотеке собирались будущие корабелы. О судьбе Валентина Серкова молодые сварщики, корпусники, слесари-монтажники слушали с особым интересом, а мне их внимание было дорого, я видел в этом живую связь времен, я понимал — и это вечно, — что и у них есть свои приметы жизни, по которым они будут особо отмечать путь — от детства к зрелым свершениям. Валентин Иванович дарит им свой опыт — дело жизни, через эту взаимосвязь мы все родня.

Катилось, катилось мое колесико и вон куда прикатилось...

А теперь — на правый берег Невы, в Невский лесопарк. Сразу после того как я приехал из детского дома, на семейном совете было решено, что стану жить у старшей сестры моей матери, тети Матрены, тети Моти. Это она настояла на своем решении. «Бывало, ем хлеб, ем, а кусочек остается, будто забыла. Думаю: господи боже мой, Алик меня вспоминает. Пусть у нас будет жить, на берегу Невы. И окрепнет, и не избалуется, как городские, к сельскому труду привыкнет, и воздух у нас чище. А то, что средств у нас мало, не беда, как-нибудь проживем. Вот денег подкоплю — телочку купим, молока ее дождемся...»

И увела меня тетя Матрена за руку. Сначала мы долго ехали в трамваях до Троицкого поля, потом в автобусе до поселка Рыбацкое. А дальше — пешком к высокому берегу Невы. По льду, по тропочке шли в метель, ориентируясь по вешкам, сухим веткам, воткнутым в ледяные торосы, занесенные снегом.

Тетя Матрена шла впереди, медленно. Была она маленькой, сухонькой, сгорбленной, голову ее и плечи покрывал серый шерстяной платок, я видел его концы, перевязанные на спине поверх плюшевой кофты. Ноги ее в куцых валеночках осторожно ступали по неровностям льда, как бы нашупывая опору для каждого следующего шага. «Ты здесь? — время от времени окликала тетя. — Иди за мной, не потеряйся».

Теперь-то я знал, что не потеряюсь, что закончился мой дальний путь, в котором не было и дня, чтобы я не мечтал о таком вотозвращении к себе домой.

Три года прожил я в Невском лесопарке, в тесных двух комнатах вместе с тетей Матреной и дядей Никитой, работавшим бухгалтером. Учился я в Новосаратовской семилетней школе, каждый день ходил по берегу Невы — три километра в одну сторону, три в другую. Помогал стареньkim родственникам по хозяйству. Время было трудное, приходилось не просто жить-поживать, а выживать. После окончания школы моя судьба опять переменилась.

М Е Ч Т Ы, М Е Ч Т Ы...

Старый, толстый доктор тяжело дышал, от него пахло табаком и одеколоном. Я заглядывал в его усталые, добрые глаза с надеждой. Все теперь зависело от этого тяжело дышащего человека — документы в Арктическое училище приняты, осталось пройти медицинскую комиссию.



— Сними-ка рубашку, посмотрим, послушаем, — благодушно проговорил доктор. Я быстро сдернул рубаху, майку, хотел было снять и штаны.

— Не надо. Ты, смотрю, как солдат. Раз-два — и готов.

Мне понравилась эта похвала, я даже успокоился. Значит, осмотр пройдет хорошо, раз доктор так расположен ко мне. Он сел на стул и подозвал меня к себе.

— Сейчас мы послушаем, подышим, подумаем, — начал он ощупывать мои мышцы, поворачивая меня крепкими руками вправо, влево. Я слегка сопротивлялся, чтобы показать и свою силу.

Без рубашки и майки в холодном кабинете тело мое покрылось пупырышками, и если раньше мне казалось, что я широк в плечах, а бицепсы у меня накачаны, то теперь я почувствовал себя тощим и жалким.

— Ты не сопротивляйся, дружок. Это я так просто тебя рассматриваю. Ничего, силен...

— У меня особенно ноги крепкие, — неожиданно для себя похвастался я.

Доктор улыбнулся.

— Ноги, говоришь? Бегал много?

— Ага. Я два сезона коров по кустам пас. Там бегать надо с утра до вечера.

— Что ж, пасти коров — дело почетное, выгодное. Кормят по очереди, правда?

— Правда, — обрадовался я, что нашел взаимопонимание.

— Мне тоже приходилось немного пасти, — признался доктор, прикладывая ухо к моей спине. — Дыши глубже... Теперь не дыши... Так...

Он молчал, а я разговорился.

— Еще я в футбол играл, сам бутсы себе сшил. Тяжелые, чтоб натренироваться...

— Молодец, — похвалил доктор. — Помолчи, не дыши.

Он замер, и я замер. «Что он там выслушивает так внимательно?» — затревожился я снова. Решил заговорить доктора, понравиться ему. Он ведь тоже когда-то, наверно, играл в футбол.

— Я в команде полузащитником был. Меня прозвали «смертельной ногой».

— Ух ты, это почему же?

Доктор отстранился, взял мои руки в свои, стал рассматривать пальцы, потом внимательно взгляделся в мои глаза, долго смотрел. Я выдержал взгляд.

— Понимаете, у меня правая бутса была тяжелее левой. Уж если я припечатаю мимо мяча, по ноге...

— Наповал, насмерть! — засмеялся доктор, и у меня снова отлегло. «Все будет хорошо! Еще немного — и я стану моряком дальнего плавания. Пойду по морям, среди китов и айсбергов. Немногие из этого способны, нужна закалка, как у меня...»

— Ну, «смертельная нога», давай теперь ложись навзничь. Послушаю повнимательнее. А почему ты захотел поступить именно в Арктическое училище?

Вопрос был задан неожиданно.

— Мечта, — сказал я. — Мой дружок собрался в загранку, в южные моря, где потеплее, а я холода не боюсь. Хочу быть как Папанин.

Надо же уметь преодолевать трудности. Я и деревья в нашем лесопарке описывал. Всегда забирался повыше, как на мачту.

— Да ты романтик...

— Я и стихи пишу.

— Стихи — это хорошо. А вот стихия — это посложнее, — вздохнул доктор, положив тяжелую волосатую руку мне на грудь.

И снова стало тревожно, как будто подступила тошнота, это у меня уже случалось, когда директор школы ругал или когда я готовился к драке. «Как он может меня не принять, за что? И вообще — как я буду жить без Арктического училища? Это же мечта...»

— Я стихии не боюсь, я через Неву на лодке перевожу пассажиров, даже тогда, когда волна выше борта.

— Да ты, я смотрю, работящий паренек, — улыбнулся доктор. — Родители тобой довольны?

— Мама у меня еще в блокаду умерла. А отец — после войны. Рядом со мной на койке лежал, спал и умер... Угорел. Я оказался покрепче.

— Что ты говоришь? Сколько же тебе, парень, пришлось пережить, — почкаль головой доктор.

— Сейчас я живу с тетей Матрениной и дядей Никитой. Он бухгалтером работает в Невском лесопарке, а тетя по хозяйству. Им трудно будет без меня. Но это первое время. Потом я им стану деньги высыпать. Они меня из детдома взяли. Я там пять лет был.

Все эти подробности своей жизни я выпалил, чтобы разжалобить доктора, чтобы он вошел в мое положение. «Теперь, — подумал я, — он обязатель но меня возьмет».

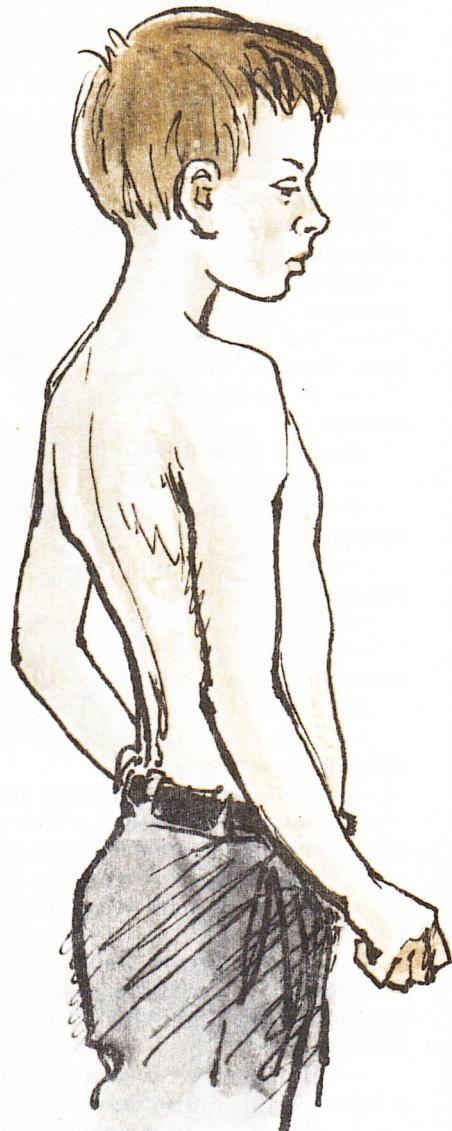
Доктор снова приложил к моей груди сначала деревянный стетоскоп, потом ухо, заставляя то дышать, то не дышать.

— Одевайся, дорогой.

После этих ласковых слов я успокоился.

Доктор сел за стол, взял ручку, начал писать, а сам говорит:

— Проклятая война. Детей с родителями разлучила. Недоедыши вы, недокормыши... трудное детство никуда не денешь...





«Зачем он говорит мне все это? — снова испугался я. — Ел и ем как придется, не жалуюсь. Любая корабельная каша будет по вкусу. Любая одежда понравится, лишь бы снять эти дырявые, латаные-перелатанные брюки...»

— Как тебя звать? — спросил доктор. — Алексеем? Так вот послушай меня, Алеша. — Доктор отложил ручку и посмотрел на меня внимательно.

тельно. — Ты хороший парень. Я был бы рад взять тебя в наше Арктическое училище, но здоровье у тебя не для моря. Тем более северного.

Зазвенело в ушах. Я будто полетел в холодный колодец.

— Прослушайте меня еще раз, доктор. Я совсем здоровый человек. Я косить могу, я однажды пять километров бежал, грабли нес...

— Не расстраивайся, — улыбнулся доктор. — Сухопутным быть даже лучше, надежнее. А бегать слишком долго, играть в футбол в тяжелых бутсах тебе не советую... Нельзя тебе перегружаться... Сердце надо беречь, понимаешь? Для нормальной жизни ничего страшного, а вот для рывков, испытаний оно слабовато...

— Я даже по ветке на дерево одними руками забирался... — лепетал я.

Понимая, что глупо сейчас в этом признаваться, я хватался за соломинку. И когда понял, удостоверился окончательно, что не вымолить мне ничего, не умолить толстого доктора, прошептал:

— Куда же мне теперь?

— Много специальностей на земле, тысячи. И все нужны. Один платье шьет, другой обед готовит, третий у станка стоит. Почему бы тебе после твоей семилетки не пойти, скажем, в ремесленное училище?..

Да что он, издевается?.. Что мне делать с этими, из ремеслухи? Я подумал с ужасом, что все лучшее в моей жизни кончилось...

Было пятнадцать лет мне тогда.

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Что-то резкое, холодное коснулось моего лица, послышался знакомый шепот:

— Аличек, вставай, пора.

Это тетка Матрена брызнула на меня водой.

На деревянном диване спать было жестко, занемела рука, но глаза открывать не хотелось, не было сил разомкнуть веки. В тяжелой голове запрыгали мысли: «Снова эти коровы! «Майка, куда ты?!» Надо бегать по мокрым кустам и орать до хрипоты: «Зорька, зараза, остановись!»

— Вставай, вставай, племянничек. Пять утра, пока позавтракаешь да в Ленинград доберемся, будут все восемь. Ты что, забыл?

И тут я вспомнил с радостью и страхом: сегодня меня повезут устраивать в ремесленное училище. Стану слесарем-механиком точных морских приборов, так решил дядя Никита. «Слесарь нигде не пропадет». Он сам отыскал мне училище на Петроградской стороне и вчера вечером на все лады расхваливал РУ номер шестьдесят три, где учиться надо будет три года.

— Я сам лично разговаривал с замполитом, — сказал дядя, довольно поглаживая рыжие усы. — Там тебя выучат как следует. Базовый завод «Электроприбор» у них под боком, работает по высшему классу. Тебя и накормят, и оденут, и правильную выправку дадут. Жаль, общежития у них не имеется.

— Будешь ездить от своего дома. Я уж и велосипедик ему старенький приглядела у соседей. Первый-то пароход, подкидыши, идет с рабо-

чими от Ново-Саратовки. Далековато, но ничего. Кто пас коров, тот приучен рано вставать. Зато каким мастером выйдешь. Заработки будут большие — вот и заживем, — умильно сказала тетя Матрена.

«Ничего себе — три километра до школы, да через Неву минут двадцать, да там еще... и это каждый день туда и обратно...» — с ужасом думал я, все еще не в силах преодолеть сон. Вспомнилось, как дядя Никита взял счеты — он все на свете с их помощью высчитывал — и начал отбрасывать костяшки.

— Три — четыре километра — положим, двадцать минут. Да там пока знакомым отдашь свой транспорт, парохода дождешься, — еще пятнадцать минут. — Дядя Никита звонко отбрасывал круглые деревяшки. — Дальше поедешь двадцать семьим номером трамвая до Московского вокзала — еще двадцать минут. Пересядешь на «четверку», и она тебя довезет до самой улицы Горького — набавляем еще двадцать минут. Пешим ходом до училища на Малой Посадской — семь минут. Итого девяносто девять минут. На всякие там опоздания, переходы, перебежки пусть будет еще пятнадцать минут. Итого получается... девяносто девять да пятнадцать — сколько будет? — с веселой улыбкой спросил дядя и сам же ответил: — От ста четырнадцати минут отнять шестьдесят... Получается один час пятьдесят четыре минутки... Не так уж много, а?..

— Два часа дороги туда, два обратно, тяжеловато, — вздохнула тетя Матрена. — Ну да ничего, бог поможет, пристрою я тебя в городе. У родственников поживешь, или еще где найду... Главное, чтобы взяли учиться...

— Почему бы им не взять? — сказал дядя Никита басом. — Мы опоздали немножко, набор кончился. Но я хорошо с ними договорился. А то, что здоровье малость подкачало, не беда. Для слесаря в самый раз. В работе и сердце окрепнет. Не всем же быть моряками.

С тяжестью и тоской вспомнился мне медицинский осмотр в Арктическом училище, наставительный голос толстого доктора: не перегружать сердце... Сразу сон отлетел.

Я быстро поднялся с дивана, увидел на плите знакомые прокоптевые кастрюли, в них уже парилось, как всегда, пойло для коровы — очистки, старый суп, дешевая рыба, комбиорм. Тяжелый дух шел от плиты. «Как теперь они будут без меня управляться?» — подумал я с тревогой и облегчением. Поднадоело мне это хозяйство — огород, сад, коровы, куры, пчелы — вертись с утра до вечера...

Катилось, катилось колесико — вот и прикатилось... Чем оно станет для меня, ремесленное училище? Теперь окажусь в большом городе, что-то будет? Радостно и страшно мне, примерно так же, как на раскачивающейся вершине сосны или березы, когда опиливал сухие ветки, лечил деревья парка; как бывало и тогда, когда перевозил через Неву на лодке экскурсантов. Насадишь людей побольше, так что лодка утопает по самые борта, и гребешь, гребешь наискосок, навстречу быстрому течению Невы, где движение, как на Невском проспекте: буксиры с баржами, прогулочные катера, пароходы, речные трамваи. Испуганные пассажиры спрашивают: «Не утонем ли?!» А я отважно утешаю: «Ерунда, в случае чего — выплынем, помогу». А сам совсем не умел плавать, никак не мог я преодолеть страха перед глубиной, когда начинал плыть. Это осталось еще с детдомовских времен, когда мальчишки меня топили шутя...



Катилось, катилось мое колесико, превращаясь то в какое-нибудь дело, то в игру. В сарае, в старом хламе, нашел я как-то проржавевший самокат, почистил его, починил, стал ездить на нем по дорогам и тропам лесопарка, отталкиваясь одной ногой от земли. Я наловчился быстро мчаться, выруливая между камнями и корнями, научился скатываться со всех крутых горушек, возить на самокате продукты из магазина, косу на луга, лопату к огороду. Но мне все чего-то не хватало, хотелось сделать что-то настоящее. И вот однажды пришло мне на ум посадить с помощью самоката сад возле дома, где громоздились кучи мусора. Я все разгреб, разровнял, работал, не жалея себя, раздобыл и чер-



нозему, и речного песку. Вывез из леса кусты дикой малины, черной смородины, молодые березки, клены, елочки. Сад получился — загляденье. Без самоката я ни за что не смог бы осилить этой работы, он был моим грузовиком и другом-вдохновителем, он удивлял меня своей грузоподъемностью, выносливостью. Сад я огородил невысокой изгородью, а в одном месте сделал скамейку из двух чурбаков и толстой доски, чтобы каждый, кто проходит мимо нашего дома, мог бы отдохнуть. А когда дядя купил два домика с пчелами и поставил их в центре моего сада, я был убежден, что садоводство — мое призвание, что я действительно все могу, за что ни возьмусь — все получится.

Испортились как-то часы-ходики, я дождался, когда останусь дома один, снял часы со стены и стал разбирать их на части. Мне показалось, что эта работа — увлекательнейшая из всех, какие я знал: отвинчивать по винтику, разбирать по детальке, шестеренка — в одну сторону, оська — в другую, — даже руки вздрагивали от азарта.

Разобрать-то я разобрал, а вот когда начал собирать ходики, запутался. Куда что ставить и как соединять все эти винтики, колесики?

Долго я возился, сначала терпеливо, потом все более раздражаясь. Стал злиться на часы. Потерял какую-то детальку. Отчаяние сменилось безразличием, я почувствовал такую усталость, будто камни таскал. Спрятал я часы, стыдно мне стало.

Пришел с работы дядя Никита и сразу увидел, что нет на стене его любимых ходиков. «Эх ты, мастер-ломастер, — сказал он. — Не за свое дело не берись. У каждого дела своя тайна, а каждому человеку дан свой талант, чтобы тайну ту раскрыть. Это как золотой ключик и замочек: подберется все точно — отомкнешь, раскроешь тайну, обрадуешься, счастье свое увидишь».

Тревожно мне перед новым поворотом дороги. В Арктическое училище провалил, другого выбора нет. Катится мое колесико, катится, к чему прикатится? Найду ли свой золотой ключик?

Дядя Никита сидел в передней комнате за столом возле окна. Длинные, струистые ветви березы с первыми пожелтевшими листьями свисали перед самым стеклом. Сухой, сгорбившийся дядя Никита был одет в любимую стеганку; пришли первые осенние холода, дядя резал ножом вязкие, ароматные соты; мед тяжелыми каплями стекал по пальцам в глубокую миску. «Это для меня, чтобы запомнился первый день поступления в ремесленное».

На стуле невдалеке от стола лежали мои вещи, редко я их надевал, береглось до случая. Белая рубашка, перешитая, перекроенная из какой-то любимой дядиной рубахи, которая стала ему мала. Костюм: широкие брюки и двубортный пиджак, слишком просторный для меня, но все-таки новый, из хлопчатки, «бумажный», как сказала тетя Матрена. «Недорогой, да видный, в комиссионке купленный». Черные ботинки с толстыми тупыми носами, очень удобными для футбола, да только всего два раза я их надевал, тетя запрятала — ни за что было не найти. И еще лежал поверх рубашки нарядный галстук — узкая, длинная, разноцветная ленточка. Дядя сказал, что галстук этот был когда-то у него самым модным. Однажды вместе со школой я ездил в ТЮЗ, тогда-то и повязали на меня впервые модный галстук. Он сполз набок, я чувствовал себя в нем неловко, но все-таки не снял: такого украшения ни у кого не было.

Завтракали мы — ели кашу, пили чай — как никогда торжественно.

— Работника снаряжаем, старайся, — сказал дядя.

— Кормильца, — добавила тетя Матрена.

И я почувствовал, что в моей жизни происходит действительно что-то необычайное, большое, очень важное. Высокие деревья, которые я лечил, спиливая сухие ветки; поля, по которым я бегал или ходил с косой; просторная лодка с тяжелыми веслами, широкая, быстрая Нева с крутыми высокими берегами, голубая пристань; могучий дуб, о котором я написал стихотворение, про то, что он зимой шелестит жел-

тыми неопавшими листьями, «как купец червонными щелестит рублями»; сарай, чищенный-перчищенный много раз; черная с белыми пятнами Зорька, лизавшая шершавым языком мой вихор; садик на месте старой свалки; мои товарищи — девчонки и мальчишки; старенькие тетя с дядей — все остается вдруг в прошлом, я уезжаю в новую, городскую жизнь — учиться. И страшно, и радостно. Вот если бы видели меня сейчас мои родители...

В город мы отправились вдвоем с тетей Матреной. За два часа с лишним одолели тот путь, что прикидывал на счетах дядя Никита. Тетя, как всегда, была в черном платочке домиком, в длинной юбке, в растоптанных, удобных для больных ног туфлях. Рот ее был строго сморщен, глаза умилльные и внимательные. Она о чем-то думала все время, пока шла, наверно, готовилась к встрече с начальством училища.

И вот мы добрались. Кирпичной, старой кладки прокоптившее здание с парадной хлипкой, истерзанной дверью и множеством окон рядами в три этажа встретило нас. Оно выходило на тихую улицу, на противоположной стороне которой размещалась пожарка: из приоткрытых массивных дверей высовывались яркие машины.

— Вот мы и пришли, слава богу, — сказала тетя. — Смотри, как тут хорошо. Тихо. Вот и булочная через дом. Мало ли, саечку купишь или бублик... Пошли представляться.

«А где же ребята, ремесленники, — наверно, учатся», — подумал я.

Как только тетя взялась за дверную ручку, сильный толчок отбросил ее в сторону. Это вылетела группа мальчишек и, отпихивая друг друга, помчалась через дорогу к пожарке.

— Ой, изверги окаянные, ой, убили! — запричитала тетя. Но вдруг замолкла, успокоилась, строго сказала: — Смотри у меня, чтоб не баловать. Я слово за тебя дам, — и быстро вошла в здание, сбросив платок на плечи. Она была маленькая, сгорбленная, решительная. Я едва поспевал за ней, примечая, что где находится. Вот справа гардероб: большая дырка в стене, а там строгая женщина и вешалки рядами, на них черные шинели, синие бушлаты. А вот лестница — ступени железные, гулкие, с дырками и пупырышками. Мы поднимаемся: один поворот, другой, третий. Тете Матрене тяжело, но она идет бодро, слегка отталкивая слишком резвых мальчишек в гимнастерках. Они острижены почти «под нулевку», торчат уши, каким-то шальным огнем светятся глаза, тяжелые рабочие ботинки с грохотом топают по железным ступеням лестницы — как сумасшедшие они носятся друг за другом вверх, вниз... «Ну и ну. Все это было в детдоме», — со страхом подумал я. Стало мне так тоскливо, я почувствовал себя таким маленьким, беззащитным, что готов был повернуться и помчаться без оглядки в тихий свой лесопарк, домой.

Но вот мы уже идем по длинным коридорам, покрашенным темно-зеленой краской, высокие окна выходят во двор — там завод, горы железа, ходят рабочие в широких рукавицах, гудит машина, на которую автокран грузит длинные трубы. И от этого от всего тоже повеяло холодом. «Зачем это все мне? Для чего мы здесь? Еще не поздно повернуть обратно. Стану я садоводом, пчеловодом, как хотел. Я и пастухом готов оставаться, только бы не это — толчая, жслезо, непонят-

ные люди, чужое все...» Знакомое чувство тоски все усиливалось во мне. «Убегу».

Тетя словно догадалась о моих мыслях, взяла за руку, ввела в какую-то комнату, где за широким столом сидел тучный человек с выующимися черными волосами, с крупным носом и с недоуменно вопросительным взглядом маслянистых темных глаз.

— Здравствуйте, можно к вам? — сказала тетя Матрена с низким поклоном. Мне стало стыдно за нее. «Чего она кланяется, как в старину».

— Проходите, пожалуйста, я вас слушаю, — сказал мужчина густым баритоном.

— Это мой племянник. Мой муж договаривался с вами на днях, чтоб на слесаря выучили Алика.

— Да вы присаживайтесь, — более приветливо сказал мужчина.

— Спасибо, — поблагодарила тетя. — Мы постоим. — А сама все-таки села, но мне велела стоять перед старшими.

— Он без родителей. Мне дальше воспитывать его трудно, стара стала, скоро семьдесят.

Тетя пригладила седые волосы, она раскраснелась от волнения.

— В школе он учился так себе, неровно. По хозяйству надо было помогать, сами понимаете... А мальчик он прилежный, в нашу родню пошел. В мать. Я вот тоже с золотой медалью гимназию окончила.

Я впервые услышал такое от старенькой, вечно замотанной, ничем не похожей на горожанку тети Матрены, я был удивлен, горд за нее и за себя, как будто бы ее золотая медаль теперь должна была перейти ко мне.

— Так-так, значит, наследственность у него хорошая. Пусть учится на «отлично». Билетами в театр, в кино будем награждать. Получит повышенный разряд. Училище наше хорошее, таких мало. Это вы правильно сделали, что пришли к нам, — хлопнул по столу ладонью мужчина и подмигнул мне дружески.

— Ездить ему долго. Два часа туда — два обратно. Я его водой бужу, — сокрушенно призналась тетя.

— Прямо целый ушат на голову? — улыбнулся мужчина. — Ладно, поживем — увидим. При первой возможности что-нибудь сообразим насчет общежития. А пока — пусть старается. Хорошую специальность надо завоевать через все, так я говорю? — бодрым армейским голосом спросил меня мужчина.

Я кивнул. Был рад, что меня берут на учебу, и сожалел, что другого пути уже не дано, меня привлекала жизнь в городе и страшила одновременно.

В комнату вошел какой-то энергичный мужчина в кожаной куртке.

— Когда обмундировывать нас будут, Семен Лазаревич? — спросил он строго. Мужчина был коротко острижен, на лице веснушки, губы тонкие, взгляд прямой, сильный.

— Сегодня и начнем вас одевать, все готово, Степан Алексеевич. Принимайте пополнение. Алексей, это твой мастер. Работать научит.

Степан Алексеевич быстро протянул мне руку.

— Будем знакомы, здравствуй. Сколько тебе лет?

— Пятнадцать, почти шестнадцать, — быстро поправился я.

— Не густо, — сказал мастер. — Но годы, как говорится, дело наживное. Идем в группу. Будешь знакомиться со всеми. Как раз начнем вы-

бирать старость и комсогрупорга. Потом обед. Потом наряжаться начнем. Новенькие шинели, бушлаты, ботинки, фуражка, ремень... Только, чур, вещи не продавать и никому не отдавать ремня. Дело чести. А то тут второгодники — шустрые. Держись за ремень крепко. Будут отбирать — защищайся или меня зови.

— И еще, — добавил уже Семен Лазаревич, — в туалете на потолке увидишь черные разводы. Это некоторые ухари сделали. Чтобы никаких таких глупостей я от тебя не видел, говорю заранее. Не поддерживай глупости. А то я мягок, мягок, да как рассержусь! — И Семен Лазаревич надулся, выкатил глаза, стал действительно страшным. Потом поправил волосы, улыбнулся:

— Поздравляю. Звание ученика академии ЭрУ номер шестьдесят три ноши с честью. Мы тебе дадим основу всей жизни — специальность.

РЕМЕСЛЕННИКИ

Тетя Матрена попрощалась со мной на улице, всплакнула, поцеловала, вытерла концами платка слезы и пошла, прихрамывая на левую ногу. Я долго смотрел ей вслед. У меня горло перехватило. Какая она старенькая, моя тетушка, сгорбленная, крошечная, как воробышек. Если бы не ее доброе сердце, так и не вернулся бы я из детдома, жил бы далеко от родного Ленинграда.

С предчувствием каких-то новых испытаний вошел я в двери ремесленного училища. Меня увидел мастер, он спускался с лестницы.

— Чего же ты? Все тебя ждут, иди в мастерскую. Это по коридору направо, потом налево — первая дверь. Иди, я сейчас.

В мастерской в два ряда стояли верстаки, широкие, крепкие. К каждому верстаку были прикреплены две пары тисков. Через высокие закоптелые окна с трудом пробивались лучи солнца. В дымке я увидел ребят, моих новых товарищей, — они сидели, стояли в разных местах, врозь друг от друга, каждый будто бы оберегал свою независимость.

Я поздоровался со всеми, подошел к свободному верстаку, облокотился на тиски. Немного успокоившись, стал оглядываться, заметил, что и меня рассматривают все: взгляды были нейтральные или явно доброжелательные. По росту я был тут самым маленьким. И по годам, должно быть, младше других. «Зато я опытнее во всяких житейских вопросах», — подумалось мне. — Чего-чего только не было у меня за пятнадцать лет. И потом — я умею писать стихи, играть в футбол, петь немножко, рассказывать смешные истории. Был бы только случай, я смогу себя показать». Мне очень хотелось понравиться моим новым товарищам. Я готов был скорее услужить, удержать каждому чем-нибудь, чем схитрить, словчить, найти выгоду только самому себе. Три года вместе не шутка. А если вместе, то и всё на всех. Но вот как сказать, как объяснить, чтобы не сочли подлизой...

Мальчишки, как обычно, затеяли испытание силой: руки на стол и кто припечатает кулак соперника к столу. Кто-то предложил меряющимся силой поднять и донести до ближайшего верстака небольшую распределительную головку, похожую на электромотор. Парни согласились. Один потужился-потужился — отказался нести. Другой пронес только

половину расстояния, покраснев от натуги. Ребята стали в круг в ожидании: кто же будет следующий? И тут что-то толкнуло меня, самого низкорослого... «Сил хватит, поднимал не такое, пусть удивятся». И действительно все удивились, когда я попросил ребят расступиться.

Резким рывком мне удалось подбросить к животу оказавшийся сумасшедше тяжелым прибор. Я сделал несколько неверных шагов — и у меня перехватило дыхание, я почувствовал, что головка вырываеться из моих рук и сейчас грохнется на ноги, раздавит меня и сама разобьется. Я держался изо всех сил, в глазах мутилось. Еще мгновение и... И тогда кто-то из ребят шагнул ко мне, взял из моих рук непосильную ношу и довольно легко отнес на прежнее место. Парень был коренастый, плотный, с круглым румяным лицом и простодушным, грустным взглядом.

— Чего взялись сдуру пупы надрывать? — усмехнулся он.

— И я думаю: в чем дело, что за дурь? — услышали мы за спиной. Это незаметно в мастерскую вошел мастер, он все видел.

— Учтите: без меня — никакой самодеятельности. Сначала предупреждаю по-хорошему. А кто не послушается... — Мастер, помолчав, оглядел всех. — Нет, жаловаться начальству не стану, а хорошего лещадам...

И он шутейно ударил меня по шее ребром ладони.

— Маленький, а настырный. Хочешь обятье необъятное? Запомните все: отныне за ваши подвиги я в ответе. Будем учиться не только работать — жить по-человечески. Наука трудная, но без нее — никак. Покажете все ваши таланты, все хорошее, чему научили вас дома, в школе, учителя, товарищи. Плохое — оно, конечно же, будет прорываться само время от времени, но мы его поприжмем. Иначе ничего не успеем сделать. Вы думаете, три года — это много? Ну-ка давайте все сюда, вот к этому шкафчику. Вставайте в ряд по росту. Поговорить надо по душам. Строить вас будет вот он, Семен Дьячков. Я назначаю его старостой. Он и покрепче с виду, и по возрасту старше всех.

Когда мы выстроились, я оказался предпоследним в строю по росту, но невдалеке от того парня, который выручил меня недавно. Мы выровняли строй по носкам ботинок, научились вытягиваться и ровняться по-солдатски, видеть грудь четвертого человека, считая себя первым. Нам скомандовали «вольно», и мы слегка расслабились.

— Ну, мужчины, будущие мужи, вам тянуть телегу жизни, а значит, и подготовка ваша должна быть надежной. Государство берет на себя большие обязанности. Постарайтесь ответить на заботу честной учебой, результативным трудом.

Мастер стал выкликать каждого по списку, беседовать. И выяснилось, что мы действительно все очень разные. Одни живут в хороших условиях, с родителями, закончили восемь, девять и даже десять классов. Другие, вроде меня, с семилеткой, из детдома, живут с родственниками в коммунальных квартирах. Третий — уличная шпана, бывшие на учете в милиции.

— Чтобы всех вас подправлять, сегодня выдадут вам форму, — сказал мастер. — Это хорошая добротная одежда. Если носить ее аккуратно, можно выглядеть даже красивым. Волосы подстричь покороче, вот как у него, — показал мастер на меня. Это дядя Никита отхватил сам мне портняжными ножницами, как он выразился, «патлы». Стрижка моя была куцой, кургозой, смешной, как я считал. Волосы я старательно зачесал.

сывал назад, на пробор, даже бриолинил их слегка или, смочив водой, усмирял непослушные вихры плотно натянутой кепкой. «И чего он нашел в моей прическе? Значит, что-то есть», — обрадовался я.

— Когда будете выбирать одежду, не толкаться, не драться с другими группами за место под солнцем. Всем всего хватит. Выбирайте шинели да гимнастерки попросторнее. Это будет основная ваша одежда. Для красоты и тепла. Гимнастерку выстираете — она сядет. Шинель попала под дождь — тоже сожмется. Вещи на толчке не продавать. Барышники да перекупщики выхватят у вас все за гроши, деньги проедите на эскимо, а потом ходить будет не в чем. На рынке сам время от времени стану дежурить, поймаю — выгоним из училища. Парадную одежду, черные шерстяные брюки беречь особо, ботинки чистить до блеска. Ремесленник не бродяга. Вы должны на улице выделяться так, чтобы сказали: «Вот это да, вот это учащийся ремесленного училища».

Все заулыбались: знаем, мол, как относятся к нам.

— А не то чтобы на вас орали: «Ремесло!» Собирать в будущем вам придется сложнейшие приборы, счетно-решающие, синусные, тангенсные и прочие хитроумные штучки для кораблей. Я с этим производством хорошо знаком, был и сборщиком, и начальником цеха.

Мастер говорил быстро, горячо, четко. Во мне росло какое-то осенное чувство значимости всего, что происходит. Я видел по лицам, что и все себя чувствуют приподнято.

— А здесь вот, в этой самой мастерской, я научу вас орудовать напильниками. Сначала выравнивать по угольнику и линейке металлические кубики. Это сложно — выдержать линию и размер. Надо привыкнуть руку крепко держать напильник — он даст вам в будущем хлеб или даже булку с маслом. Потом вы сами сделаете плоскогубцы, ножовки, отремонтируете два-три токарных станка для завода, вон стоит один, ждет ваших рук.

Станочек был маленький, невзрачный, но что-то таинственное было в его облике.

— Поверьте, где бы вы ни оказались, что бы с вами ни было потом, годы, проведенные в ремесленном училище, не пропадут даром, рабочая закваска поможет вам во всех ваших делах.

Кто-то хмыкнул из ребят, не поверил, а я слушал внимательно, не сомневаясь ни в одном слове мастера.

— Не куражьтесь друг перед другом понапрасну, не ломайте козыря — сила ваша будет теперь в настоящей дружбе, когда один другому помогает, подстраховывает один другого, вот как сейчас было с этой вон распределительной. Еще бы немножко — и один дурачок ноги поломал бы, а другой умница сообразил, подхватил вовремя. Молодчина.

Румянец на щеках парня стал еще более розовым.

— Знаю, вы, как петухи, будете силу пробовать. Это понятно в вашем возрасте. Не деритесь до крови, ни к чему это, глупо. Сила мужская должна быть бережной. Не ругайтесь матом. Вам кажется, что это истинно мужское, — чепуха!.. И еще: на учебу, на теорию будете приходить к девяти, а на практику — к восьми, как взрослые. И чтоб никаких таких детских отговорок: проспал, забыл. Работа — дело суровое, серьезное.

Мастер внимательно оглядел ребят.

— Помните: тяжело в учении — легко в бою. У вас то же самое. Из

приятных информаций еще такие: кормиться три раза в день, столовая вон там, за стеной. Староста будет назначать двоих дежурных, чтоб вовремя накрыть столы. Еда вполне съедобная, сам пробовал. Ну, кто привык к домашней пище, к пирожным, тот потерпит. Только не советую и в этом случае нос воротить, рабочий должен есть хорошо, основательно, иначе не потянем... Теперь все садитесь на эти лавки возле моего стола.

Мастер быстро поднялся на возвышение, сел на стул перед столом.

Мы расположились на деревянных лавках, и я оказался совсем рядом с парнем, выручившим меня, его звали Володькой.

— Чтобы вы не были Иванами, не помнящими родства, — начал мастер, раскрывая не то большой блокнот, не то журнал, — я расскажу вам немного об истории трудовых резервов. Буду читать кое-какие свои выписки.

И, надев очки, он начал негромко, ровным голосом:

— Государственные трудовые резервы родились второго октября тысяча девятьсот сорокового года.

Я слушал мастера и впервые начинал понимать, как много нас, решившихся учиться делу, как важно оно не только для меня одного — для всей страны.

Через час мы толкались возле дверей складского помещения, получая одежду. Веселая, азартная это была толкотня, хотелось получить что-нибудь получше, хоть все было похожим.

Потом, в мастерской, мы начали примерять вещи. Гимнастерка и брюки многим оказывались не впору, велики. Складки гимнастерки торпелились, пузырились из-под кожаного ремня с блестящей пряжкой, на которой были большие буквы: Р.У. Мастер оглядывал каждого, успокаивал: «Ничего, присидится, притрется, все будет как надо».

Застегнутые воротнички гимнастерки только подчеркивали тонкость, хрупкость наших шей. Тяжелые ботинки из яловой кожи болтались на ногах.

В новой одежде я побежал записываться в библиотеку. Прягал по лестнице через ступеньку, ботинки грохотали, мне было весело. И вдруг кто-то прижал меня в угол. Узкое мальчишеское лицо, злые глаза, табачный запах изо рта, выцветшая гимнастерка. Это был второгодник, «старикан». Он прошипел: «А ну, снимай ремень, шмакодявка».

Я схватился за свой ремень, но второгодник оказался сильнее меня. Еще немного — и он одолел бы меня. Но во второй раз выручил Володька. Он появился вовремя и легко спустил по ступеням второгодника.

С Володькой нам не захотелось расстаться и после занятий. Мы пошли вместе по городу, по просторному Кировскому проспекту под ветвями старых деревьев, потом по мосту через Неву, серую, свинцовую, могучую, потом дальше, по Марсову полю, и говорили, и говорили, вернее, я говорил, Володька лишь бросал короткие фразы. Я знал: он внимательно слушает меня, ему все интересно. В тот день мы шли в Дом культуры трудовых резервов на улицу Софии Перовской, нам сказали на линейке, что в ДК можно научиться петь, играть на баяне, писать стихи, танцевать модный фокстрот. Хотелось одолеть все сразу, нам улыбались, кажется, все прохожие, солнце, время от времени выглядывавшее из-за туч, тоже светило для нас.

ТРУД — ДЕЛО ТВОРЧЕСКОЕ, или История одного стихотворения

Никогда не забуду, как мой мастер из металла делал цветок. Стоял за верстаком в рубашке с засученными рукавами и трудился. Был он крепок, подвижен, играла каждая мышца на руках, капельки пота пропадали на лбу. Мастер работал азартно, вдохновенно. Точными движениями легко орудовал он напильником — плоским, круглым, трехгранным, — он в еще не обработанном металле видел красоту, отказываясь от всего лишнего.

И мы, его ученики, это видели, чувствовали, смотрели восхищенно на красивую работу.

«Что главное в нашем деле?» — спросил мастер. Кто-то ответил, что самое трудное — научиться хорошо владеть напильником. «Так, да не совсем», — ответил мастер. Кто-то добавил, что надо уметь расходовать силы. И тоже не вполне попал в точку. Были и шутливые ответы: мол, надо хорошо поесть, знать, что впереди большая зарплата...

Мастер слушал нас, окруживших верстак, отвечал шутливо и серьезно. Дыхание его было все более учащенным, капельки пота на лбу все крупнее. Округлые тонкие лепестки цветка вырастали на наших глазах, поражала власть рук мастера над металлом. И когда он остановился передохнуть, мы услышали: «Слесарю, как любому специалисту, нужны знания, навыки, хорошая зарплата, но самое главное — любовь к своему делу. Уверенность, что профессия выбрана на всю жизнь. И тогда в каждой вашей детали будет оставаться частица души. Кто бы ни взял эту детальку в руки, залюбуется, поблагодарит, сам захочет свое дело сработать не хуже. Вот тогда мы окажемся в мире только хороших вещей. Добротная работа многого стоит — в ней творчество, уважение человека к человеку...»

Я был горд, что мастер работал за моим верстаком. И с тех пор, что бы я ни делал, старался изо всех сил. И так — могу похвастаться — моя фотография оказалась на доске Почета, а при выпуске из училища я получил повышенный — пятый — разряд. Но сначала надо было научиться опиливать ровную плоскость по угольнику и линейке, чтобы соблюсти точные размеры и не допустить зазоров, а это нелегко. Потом мы делали ножовки, плоскогубцы, молотки. Самым ответственным, интересным делом оказался ремонт расточного станка для нашего базового предприятия. Станок оказался мощным, высоким и вначале даже будто бы устрашающе таинственным, мы не знали, как подступиться к нему. Мастер первым взялся за дело, за разборку его узлов — валиков, шестеренок. Нам нужно было промыть все это в бензине, потом шабрить станину, испорченную царапинами, вмятинами, изготавливать кулачки и многое другое, что еще никогда не приходилось делать.

Постепенно мы так увлеклись работой, что наметили отремонтировать станок раньше установленного срока, оставались даже по вечерам после учебного дня. Станок становился мне все более близким, понятным, почти живым существом. Я думал о нем, когда гулял по городу, и даже вечером, когда ложился спать. И само собой стало рождаться во мне стихотворение: «Ремонт станка». Первые четыре строчки родились быстро.

Мы вправе себя называть докторами,
Видите — вот он, бывший больной.
Его мы своими лечили руками,
Этот огромный станок расточной.

Наша работа и в самом деле была похожа на какую-то сложную хирургическую операцию. В беретах, в синих халатах, мы внимательно изучали каждую деталь, восстанавливали, оживляли ее своим умением и трудом.

Ничто не давалось просто так и в моем поэтическом деле, любая строфа, даже строчка стихотворения приходила не вдруг. То смысла точного не найти, то ритм хромает, то рифма плохая. Уж сколько слов я перебрал в голове, взвесил, как бы ощупал, пригнал одно к другому, как поступал и с деталями. Ни с чем не сравнимая радость приходила с удачей.

Так чем же болел он, — узнать вы хотите?
Был сломан совсем, работать не мог.
К нему подвели нас, сказали: «Лечите,
Товарищи, нужен заводу станок...»

Обычно легче мне было писать о природе, о своих чувствах, о красоте Ленинграда, а вот о деле — пришлось изрядно поломать голову.

За дело, ребята, ребята, за дело!
Лечить так лечить, рукава засучив.
И дружно работа у нас закипела,
Запела работа — лечить так лечить.

Каждый знает, что особенно непросто выдержать, довести дело до конца, когда ты устал и все особенно сопротивляется, когда слабеет воля. «А не бросить ли?..» И если не спасовал, закончил все, как надо, гордое, высокое чувство удовлетворения дается в награду. Я испытал его не вполне. Кое в чем помогли мне друзья из литературного кружка, искали завершающий ход стихотворения, точные рифмы. И вот что получилось:

Станок мы лечили своими руками
И сделали, как бы он ни был велик.
Мы вправе себя называть докторами,
Мы вправе себя называть мастерами —
Ведь каждый к работе, как к хлебу, привык.

В последней строчке буковка «к» трудно произносилась рядом со словом «хлебу», будто запиналась за это слово. Но всем понравилось удачное сравнение, и решено было оставить эту маленькую неблагозвучную запинку. В те дни я вполне испытал — труд в поэзии и поэзию в труде.

Стихотворение было помещено в стенную газету, читал его на училищных вечерах, а однажды оно прозвучало по радио. Но об этом стоит рассказать особо.



Как-то в нашу мастерскую пришел корреспондент из Ленинградского радио. Это было накануне нашего выпуска.

— Привет выпускникам, — громко сказал корреспондент. Звук «р» будто хрустнул у него во рту. Корреспондент был пожилым, тощим и таким высоченным, что казалось, он очень недоволен своим ростом и поэтому сутулялся, склоняя голову, чтобы не выделяться. И все равно он смотрит сверху вниз: глаза внимательные и быстрые, что-то ищут в нашей мастерской, в наших лицах и взглядах. Он держался так, будто знал заранее все, что мы можем сделать, сказать или даже подумать.

Корреспондент прошелся перед нами, пожал руку старосте, моему другу Володьке и мне: мы оказались ближе к дверям.

— Что тут происходило? — недоуменно спросил мастер, поглядывая на швабру, с которой мы недавно возились, отнимали друг у друга для забавы.

— Да так, думали кое о чем, — поспешил на выручку всем быстротумный Иван Колесников. Он спрыгнул со стула, подошел к нам.

— Это интересно, — живо сказал корреспондент и поднес к самому лицу Ивана какую-то железную штуковину наподобие большой курительной трубки. Я не сразу догадался, что это микрофон.

— Тс-с, — поднял он руку и попросил тишины. — Так о чем же вы думали, молодой человек? У вас у всех такие серьезные лица. Вы, наверное, думали о самом главном — как и где вы теперь будете работать?

Колесников ошалело смотрел на микрофон и на корреспондента. Судорожно глотал слюну, открывал и закрывал рот, но было слышно только кряхтенье и шмыганье носом.

— Смелее, смелее говори, что думаешь, — подбадривал корреспондент.

— А я ни о чем и не думаю, — наконец выдавил Иван сиплым, сдавленным голосом.

— Вот тебе и на, а так глубокомысленно молчал, — усмехнулся корреспондент. — Кто у вас тут староста или комсогруппорг?

— Вот он и он, — показал мастер на Ковальчука и широкоплечего Дьячкова.

— Ну что же, выручайте всех. Какие планы у вас, как учились?

Микрофон оказался перед носом Семена Дьячкова.

— Ну, в общем ничего себе учились, — сказал Дьячков.

Корреспондент радостно закивал головой: мол, правильно, хорошо говоришь.

— А потом мы стали учиться еще лучше, — брякнул раскрасневшийся Дьячков.

— Когда это потом? — удивился корреспондент.

Дьячков помолчал, тяжело вздохнул.

— Ну, после этого... после соцобязательства, — опять не совсем складно выразился Семен.

— Вы, значит, перед выпуском обязались учиться только на «четыре» и «пять»? — постарался поддержать разговор и помочь новому нашему комсогруппоргу корреспондент. Он хмурился. Микрофон чуть заметно вздрогивал в его руке.

«При чем тут обязательства? — думал я. — Никому ничего мы такого... не обещали, к чему весь этот разговор?»

— Мы, конечно, как и все группы училища, приняли на себя повышенные обязательства, да, повышенные социалистические обязательства, —

вмешался мастер. Голос у него стал неузнаваемым, деревяенным, лицо потеряло живость, глаза потускнели.

Корреспондент поднес микрофон к его губам.

— Недавно, например, закончили ремонт станка для нашего базового предприятия. — Мастер, не поворачивая головы и туловища, словно завороженный микрофоном и рукой корреспондента, быстро махнул правой рукой в ту сторону, где стоял расточной станок.

— Интересно, очень интересно, — сказал радиокорреспондент так оживленно, будто и вправду ему было так интересно. — Ну, кто из вас расскажет, как вы ремонтировали станок? — громко и весело обратился он к нам. — Наверно, очень было трудно. Шутка ли, такой станочище. А ну-ка покажите, как это у вас получалось. Прошу, прошу: станьте на свои места — и за работу.

Корреспондент оживленно размахивал руками, командовал, ждал от нас каких-то шумных действий: ударов, скрежета, скрипов. Ребята нехотя разбрелись по своим местам, достали что попало из инструментальных ящиков, принялись колотить молотками и шаркать напильниками. Корреспондент подходил с микрофоном к одному, к другому, громко спрашивал, как идут дела и что мы делаем. Ребята переминались с ноги на ногу, краснели, почесывали голову, бормотали что-то невразумительное. Корреспондент вытирал платком вспотевшее лицо.

— Хватит, тишина! — крикнул он. — Что же это вы, рабочий класс? Где ваша смелость? Неужели никто из вас так и не скажет мне толком несколько фраз о своем деле?

— Мы изготавливаем для своего любимого завода... — громко и дурашливо начал Колесников.

— Да не изготавливаете, а ремонтируете, — раздраженно поправил мастер.

— Мы ремонтируем для своего любимого завода этот наш любимый станок. — Колесников замолчал, насупился. Смузенено молчали все ребята.

— Не ожидал, не ожидал, — искренне огорчился корреспондент. — Неужели я ошибся и пришел не в ту группу? А мне-то говорили, что именно к вам нужно идти, что дело вы знаете и так, вообще смелые, даже иногда слишком.

«Ну что он хочет от нас? — думал я. — Все как обычно. И трудно было, и хорошо, и всяко...»

Корреспондент стоял перед нами с микрофоном в руке, он был расстроен, что мы оказались такими молчунами.

— Вы поймите, — сказал он. — Меня интересуют не какие-нибудь там сверхъестественные дела, а самые обычные. Я же о них не знаю, и многие другие не знают, а стоило бы знать. Ведь это ваша жизнь. Ну, кто смелый? Попробуй ты, — сказал корреспондент, и взгляд его остановился на мне.

— Он может, — подтвердил мастер. — Он занимается в литкружке. Он может даже стихи почитать...

— Не стихи мне сейчас нужны, а серьезные мысли о деле, — сердито сказал корреспондент.

— У него стихотворение о станке, — пояснил мастер.

— Ах вот что? Это интересно, — повеселел корреспондент, и микрофон очутился перед моим носом.

Тихо стало вокруг. Запрыгали и разбежались все мысли, все слова, все, что было в моей памяти. И чем дольше я молчал, тем страшнее была тишина. Все смотрели на меня, ждали моих слов, мне казалось, что сейчас молчат и прислушиваются к репродукторам тысячи людей. Властно и требовательно дрожит передо мной поблескивающая решетка микрофона. Наконец я вздохнул и громко выкрикнул:

— «Ремонт станка»!

— Это что, так называется твое стихотворение?

Я кивнул.

— Тогда скажи еще раз, потише, — попросил корреспондент.

Я собрался с духом, раскрыл рот и услышал сиплый шепот:

— «Ремонт станка».

— Теперь погромче.

Я повторил название стихотворения.

Что это за странная штука была передо мной — этот маленький подслушиватель моих слов и мыслей, моего дыхания и даже стыда.

— Хватит, спасибо, — сказал корреспондент, когда я прочел стихотворение почти до конца. Я остановился на словах: «Мы вправе себя называть мастерами...».

— Это хорошо ты подметил, — похвалил корреспондент. — Вы теперь настоящие мастера своего дела. Станок вы сегодня закончили и сдадете. У вас, конечно, приподнятое настроение?..

Удивительное дело: ни мастер, ни ребята не поправили корреспондента. Не сегодня мы сдаем станок, а сдали его уже больше месяца назад.

— Ты на нем пробовал работать? — спросил меня корреспондент.

— В общем-то, да, — сказал я неправду. Почему я соврал, сам не знаю. Уж очень пристально смотрел на меня корреспондент, и уж очень ему хотелось — я это видел по глазам — услышать от меня именно то, что я сказал.

— Хотел бы стать еще и токарем? — спросил корреспондент.

— Хотел бы, — опять соврал я.

— Ты, наверно, хорошо учишься? — Он спрашивал быстро, не давая подумать.

— Да как будто бы ничего... Только вот по французскому слабовато.

— По французскому? — удивился корреспондент. — Вы изучаете французский язык?

— Ну да, все три года.

— А зачем это слесарю — французский язык, как ты думаешь? — лукаво спросил корреспондент.

— Для общего образования, — бросил мастер.

— Мало ли, в Париж поеду, — пошутил я под общий смех товарищей.

— А ну-ка скажи что-нибудь по-французски, — попросил корреспондент. — Давай-давай, не стесняйся.

От позора меня спас дежурный по группе, Саня Сидоров. Он влетел в мастерскую с торжествующим криком:

— Пацаны, еда на столах! Чай стынет!

В мастерской поднялся шум, гвалт, кто-то рванулся к двери.

— Нет, нет, — остановил нас корреспондент. — Еще немного — и мы закончим разговор. А сейчас я спрошу вот этого молодого человека: что было самым трудным за годы учебы?

Корреспондент подошел к Илье — одному из самых тихих, разумных наших товарищей. Илья Головин стоял у окна, на корреспондента он смотрел спокойно, без смущения. Он помолчал, подумал.

— Самым трудным... — негромко начал он. — Много было самого трудного, но, пожалуй, труднее всего было учиться здесь и заканчивать десятый класс вечерней школы.

— Да, это действительно нелегко, — согласился корреспондент. — И как, успешно закончили?

— Плохо, с тройками, — признался Илья.

— Ну, все-таки закончили, а это главное, — постарался утешить корреспондент.

— Нет, это не главное, — уверенно сказал Илья. — Я хочу дальше учиться, а с тройками мне будет трудно поступить, куда мечтаю.

— Ах вон у вас какие мечты. Похвально. И куда же вы собираетесь поступать?

— В университет, на биофак.

— Так что же, окажется, что вы напрасно приобрели свою специальность слесаря?

— Не напрасно, она мне пригодится когда-нибудь. Мужчина все должен знать и уметь. Но я не люблю слесарное дело.

— Вот так раз, — удивился корреспондент. И все мы удивились. И наш мастер. Илья был одним из лучших его учеников. Все, что он делал, получалось у него аккуратно, точно, правда, не так быстро, как у других.

А я еще удивился смелости Ильи. Он говорил только правду и не поддакивал, как я, не придумывал, чего нет и не может быть. Ведь я тоже мог бы сказать, что мечтаю писать стихи. Но струсили.

— Но почему вас интересует именно биология? Может быть, вы ошибаетесь в своем желании так же, как ошиблись, поступив в ремесленное на слесаря? — спросил корреспондент.

— Я не жалею, что поступил сюда. Здесь только я и понял, что буду биологом.

«А вот я ничего не понял, — подумал я с огорчением. — Да и вряд ли кто-нибудь из всей нашей группы знает наверняка, кем он должен стать, что он любит, а что нет. Вот разве что Володька уже определился. Он прирожденный слесарь. И Губарев, Губарик. Ему все равно, где работать, лишь бы не работать, как сам говорит...»

— Что же вас так привлекает в биологии? — Корреспондент задал этот вопрос с живым интересом, теперь это был разговор уже не для микрофона.

Илья задумался. Большие печальные его глаза смотрели куда-то в пространство или в себя. Головин молчал долго. Ребята стали пробираться к выходу. Я услышал недовольное ворчание старосты:

— Ну и жизнь пошла. Один поэт, другой биолог. Кто же работать будет?

— Я считаю, — начал Илья, — что биология — самая важная наука. За ней будущее. Если мы узнаем тайну белковой клетки, люди смогут управлять всей жизнью на Земле.

— А не опасно это — управлять?.. — спросил корреспондент.

— Не знаю, — сказал Илья. — Может быть, и опасно. Я еще про это не думал.

— Ну-ка, признайся, — с дружеской усмешкой спросил корреспондент, — собираешься открыть секрет белка?

— Собираюсь, — сказал Илья и тоже едва заметно улыбнулся.

— Смело, однако, смело. Ты не из трусливых.

— Как раз я из трусливых, — вдруг сказал Головин.

— Ну уж. На тебя это не похоже. Большие открытия и трусость несовместимы.

— Почему же несовместимы? Один молодой биолог доказывает, что смелость и трусость равнозначны в природе. Для сохранения вида это все равно. Смелые бросаются на врага и часто гибнут, а трусливые умеют вовремя затаиться. Это очень нужно для продолжения жизни. Этот закон ученый выявил на петухах. Он долго за ними наблюдал.

— Может быть, в биологии это и так, но, вообще-то, такая теория мне не по душе, молодой человек. Трусость не люблю, если даже она и полезна для продолжения жизни, — горячо заявил корреспондент.

«Он прав, — подумал я. — Илья Головин ошибается. Говорит о трусости, а сам держится смело, честно. Совсем не так, как вел себя перед микрофоном я. Хорошо еще, что я прочел стихотворение — не струсили. Его теперь, наверно, будут передавать по радио — и услышат все...»

Не сразу я понял по-настоящему, что произошло. А когда понял, дух захватило. Как будто бы я стал выше ростом и шире в плечах, как будто бы теперь все должны были как-то иначе смотреть на меня, иначе разговаривать со мной. Как будто бы я совершил подвиг или одержал победу.

Все изменилось во мне и вокруг. Просторнее стала мастерская, светлее ее грязные окна, радостнее лица ребят. Эх, если бы в эту минуту оказались рядом со мной отец и мать!

Распахнулась дверь. Дежурный по столовой заорал:

— Робя! Ну чего вы?! Все остыло!

На этот раз трудно было нас удержать. Наскоро попрощавшись с корреспондентом, мы помчались в столовую.

* * *

Свое стихотворение я услышал в самую неожиданную минуту — я, да как будто бы и не я прочел его по радио.

Это был один из последних дней практики на заводе. Ответственнейший день, когда решалась судьба: быть мне в сборочном цехе или не быть. Но именно в это утро я проспал: всю ночь проторчал на Балтийском вокзале, встречал любимую девушку и не встретил с первым утренним поездом, не разглядел ее в толпе пассажиров.

«Такие работники мне ни к чему, уж лучше как-нибудь без сопливых обойдемся. Наш цех не для всяких», — сказал мне бригадир Зайцев, когда я пришел на полчаса позже положенного времени.

Я приуныл. Что и говорить, такой цех поискать нужно. Не цех, а лаборатория. Чисто, светло, в двух огромных комнатах стоят рядами верстаки, рядом круглые вертящиеся столы с приборами. Большие станки и станочки покрашены светлой краской. Привык, прилип я к этому цеху, к интересной работе, к людям. Теперь надо стараться изо всех сил, чтобы заработать прощение у бригадира.

Когда собираются приборы, бывает, срочно нужно просверлить что-нибудь, отфрезеровать, выточить.

Станки работают обычно не все сразу, от них негромкий шум. Он приятен мне, так же как и совсем особый запах цеха — деловой, ни на что не похожий. В нем прогоркость металла, жирный дух технических масел, терпкость бензина, в котором промываются детали, и что-то еще непередаваемое. «В общем, если оставят меня, — решил я, — в нашем цехе, буду считать, что повезло».

— Становись к станку — и поехали, — сказал Зайцев, натягивая поудобнее халат на свой черный, ладный, но слегка засаленный на руках и карманах пиджак.

Посадка подшипников на маленькие тонкие валы считалась у слесарей-сборщиков нудной и утомительной работой. А мне такая работа по душе. Зажмешь валик в цанге, включишь небольшой, нешумный токарный станок около верстака и микронной шкуркой касаешься посадочного места. Пальцы обхватывают вал легко, бережно, будто лаская, ползут вдоль полированной поверхности, им очень важно не упустить тот последний микрон стали, который должен плотно и в то же время мягко удерживать внутреннее кольцо подшипника. Вот и ловишь точность чутьем, напряженным ожиданием. Это похоже и на поиск рифмы к стихотворению, без творчества тут не обойтись.

— Ты что это? Дурачок, что ли? — сердито спрашивал бригадир. — Сколько можно шаркать по одному и тому же месту?

Мне не очень-то было понятно, чем недоволен бригадир, я еще только начал дело. И, крепче обхватив пальцами горячий валик, стал водить рукой справа налево.

— Что происходит? Это же твое коронное дело! Ты у меня сейчас такого леща схватишь! — разозлился Зайцев. — А ну выключай станок!

Оборвался негромкий стон электромотора, крутнулся и замер тонкий вал, зажатый в цанге.

— Вынимай, — сказал бригадир.

Я отжал цангую, вытащил валик, он был горячим.

— Ну-ка, измерь, — сказал Зайцев и дал мне в руки микрометр.

Я осторожно начал всовывать между стержнями инструмента горячий валик.

«Проснись! — приказываю я себе. — Это твой самый важный день. Погориши — ни за что не оставят в цехе». Как в тумане, вижу ряды верстаков перед огромными окнами, склоненные головы слесарей-сборщиков. Они сидят на высоких табуретах внимательные и неподвижные, как часовщики.

— Ты, может, заболел? — спрашивает бригадир, забирая из моих рук валик и микрометр. — Конечно, напортачил, — говорит он. — Эта оська теперь только в телегу, а не для подшипников. Я же тебя учил. Ласково надо. Как будто и не касаешься. Одними подушечками пальцев, чтобы и не дышал даже, — это ведь микроны, а не километры. Гладил когда-нибудь руку девчонке? — вдруг спросил он.

— Один раз было, — пробурчал я.

— Так вот, если ты сейчас не вспомнишь про тот свой один раз, не приласкаешь валик, — откажусь от тебя. Ну что это, работал всегда вроде бы нормально, а тут черт те что. Самая горячка, а он бракует. Пойди перекури, отдохни маленько.

Я хотел было признаться, что всю ночь прождал девушку на вокзале и потому такой вялый, сонный, но что это за объяснение для Зайцева — дело есть дело, он прав. Нужно во всем успевать, все делать точно, добротно, честно готовиться к взрослой жизни. Ведь не только у меня одного свидания, увлечение стихами или музыкой, поиск себя. Важно сейчас состояться в чем-то главном, что даст основу на всю жизнь.

Мне совсем не хотелось курить, но я решил посидеть на скамье, послушать радио, — может быть, хоть это придаст мне бодрости.

Курилка — небольшая сумеречная комната, пристройка к стене цеха. Там низкие просторные скамьи, прогорклый дымный воздух. Это место не только для перекура, сюда приходят в свободные минуты порассуждать о жизни.

В курилке почти у самого входа сидел Яков Семенович, или, как я его просто называл, дядя Яша. Он никогда не забирался вглубь, в темноту. Он, пожалуй, один из всех старииков садился покурить надолго, основательно. Большие руки упирались локтями в колени, левая поддерживала седую голову, правая не спеша подносила папиросу к губам в тот самый момент, когда огонек уже как будто затухал. Дядя Яша сидел на скамье в курилке, как, наверно, сидел бы перед своим домом на завалинке, живи он в деревне.

У дяди Яши был самый точный во всем цехе и, может быть, даже на всем заводе станок. Сверхпрецзионный. Корундовыми дисками с алмазной крошкой он обрабатывал детали, у которых поверхности были гладкими, как стекло, и с такой точностью, которую мне и не представить. О дяде Яше говорили, что он хоть спи, хоть кури, все равно свое заработает. Говорили так, будто завидовали ему. А я если и завидовал, то уж никак не заработка. Меня привлекало в этом человеке другое.

Не на всех людей хотелось смотреть долго-долго, как на дядю Яшу. На его доброе, вдумчивое лицо, на его светлые неприбранные волосы. Он их всегда поправлял одними пальцами. Что-то было такое надежное





во всем облике дяди Яши, что даже просто помолчать за компанию с ним и то успокаивало меня, если я был чем-нибудь расстроен или встревожен.

- Здорово, парень, — сказал негромко дядя Яша.
- Здравствуйте, — ответил я и подсел поближе.
- Как жизнь? — спросил дядя Яша.
- Да ничего, кончаем учиться.
- Знаю, что кончаете. Куда теперь вас?
- Я бы хотел остаться.
- Остаться? Понимаю. Цех у нас хороший. Тут много чего найдешь. Если здесь поработать годика два — три, любое дело потом не страшно. Как у тебя с бригадиром? Ладишь?
- Кажется, да, он человек.

— Зайцев молодец. Самый тут молодой, а работает как положено. Попросись к нему хорошенъко. А хочешь, я поговорю. Ты вроде парень ничего.

— Спасибо, может, и так возьмут, — сказал я. — Вот закончу валики...

«Да, стыдно, за все стыдно, перед всеми стыдно, когда с делом не справляешься, — подумал с болью я. — А еще стихи читал о том, что мы доктора... мастера... Ну хвастун. А ведь было, все было — и умение, и вдохновение, когда станок ремонтировали... Может быть, я в бригаде Зайцева не на месте, где-то еще себя искать нужно? Только где, в чем? Стихи — это так, для души...»

Подошли ребята из нашей группы. Завьялов уже дымил, покашливая. А вот и благодушный Колесников выкатился на коротких ножках откуда-то из-за угла — он работает во втором крыле цеха, где стоят фрезерные и токарные станки.

Появился Володька. Мой друг не курит, а тоже сюда. Посидеть, отдохнуть. Володька вытирает руки ветошью. Трет изо всех сил, насухо. У него почему-то все время мокнут ладони. Ему сказали: «Лечись, а то детали ржавеют». Володька лечился долго, мыл руки какой-то едкой жидкостью, даже кожа сошла, но все равно, когда разволняется мой, в общем-то спокойный, друг, лучше не браться ему за блестящие полированные детали. Володька улыбается мне:

— Привет, Леха. Ты чего такой зеленый?

— Так, ничего, — сказал я.

— А что, ты утром вовремя на трамвайную остановку не пришел? Я минут десять торчал.

— Проспал, — сознался я.

Володька подсел к ребятам. Дядя Яша не спеша докурил папиросу, поглядел на моего друга, на Завьялова, на Колесникова. Он, кажется, не просто всматривался — он вдумывался, вслушивался. Завьялович и Колесо сидели на скамье вразвалочку.

— Ну что, парни, надоело работать? — спросил дядя Яша.

— Да ну, какая это работа. Вот если бы за все платили, тогда бы что, — мечтательно сказал Иван Колесников. — А так и смотреть на нее неохота.

— Ты меня, работа, не бойся, я тебя не трону, — сострил Завьялов.

— Значит, хотите посидеть на сдельщине и чтобы у вас было как у всех, без ученических, — полуспросил, полуопрояснил дядя Яша.

— Ну да. Я вон в том месяце сколько вкалывал, а что толку, — признался Колесников.

— Значит, твой толк весь в деньгах? — спросил дядя Яша.

— А то в чем же? Как у всех, — уверенно бросил Завьялов.

— Смотри, малый, прогориши.

— Ерунда, деньги — главное, — определенно высказался Колесников. Володька молчал. Из всех нас он самый старательный, самый способный, давно справляется с нормами, мог бы вполне получать деньги наравне с членами бригады. Володька оказался прирожденным сборщиком, но в разговоре о деньгах он, кажется, тоже был на стороне ребят. Мы вместе не раз мечтали о хороших заработках, о сдельной работе. Получаются как будто не просто детали или приборы, а копейки, рубли, сотни.

— Значит, и такие нынче идут к нам? Ну-ну, — негромко сказал дядя Яша.

Колесников промолчал. Должно быть, понял, что хватил лишку.

— Ладно, парень, раз уж ты меня разозлил, так послушай, — сказал дядя Яша. — Видишь руки? На, посмотри. Пальцы скрючены, а на ладонях не то что кожа — рашипиль. Это не только от моего прецизиона — это от всех моих лет. Когда был пацаном, эти руки копали огород, хотя лопата была тяжелее меня самого. Когда стал постарше, опять кидал земельку, и тоже лопатой, строил Магнитку, — слыхал про Магнитогорск?

Я слышал об этом городе, о том, что это была одна из великих строек страны — металлургический центр, туда стремился поехать и мой отец.

— Там люди ковырялись в земле от зари до зари, — горячо продолжал дядя Яша. — Что ели, как спали, где жили — о том не говорю. Не для маленьких детей, хоть я и был тогда почти таким же, как вы. А потом фабзавуч. Тогда я как вцепился в ручку токарного станка, так и кручу до сих пор. Болтики, винтики, гаечки — с утра до вечера. Домой иногда придешь — спины не разогнуть, руки не знаешь, куда девать, чтобы не гудели. Заснешь с грехом пополам, набормочешься за ночь в мутном сне, выпьешь поутру стакан чаю с бутербродом — и айда заново: болтики, винтики, гаечки. А тебе говорят: «Давай еще быстрее. Страна твоим трудом поднимается. Все силы выложи, а давай и давай. Впереди счастливое будущее».

Дядя Яша мазанул пятерней по волосам, глубоко вздохнул, оглядел нас всех и продолжил:

— А оно, это будущее, которого мы так ждали, которое могло бы вот-вот быть, как грохнуло войной. Тут уж было не до красивых лозунгов, тут уж каждый сам видел, что «давай-давай». Там, под огнем фашистов, люди умирают, — значит, и ты у станка стой насмерть.

И, в сердцах махнув рукой, дядя Яша сказал:

— Да что я вам все это говорю — сами знаете не хуже меня. Сами ведь тоже и голодали, и детдома хлебнули, и безотцовщины, и чего только у вас не было. Ну что ж, потому я вам все это и говорю, что из одной миски щи хлебали и хлебать будем. Из одной миски и в одном доме. Тут все наше.

Дядя Яша обвел цех рукой.

— Все, что есть плохого и хорошего.

Помолчал. И все молчали, догадывались, что дядя Яша еще не все высказал.

— Вы вот завидуете моему новому станку, а сколько лет я на старых работал, вам и в ум не взять. Станок разваливается, его бы давно прихлопнуть надо, а мне говорят: «Давай-давай, и чтоб по второму, а то и по первому классу обработочку сделать». Ну, однако, пришла пора, сообразили-таки и прецизиончик свой. Теперь-то что выдать класс — не хочешь, да получится. Надо бы вам получше это помнить, что вот наш цех, со всеми этими чистенькими верстачками, с цветочками на окнах, с полированными детальками, — это все наша победа, наша радость, которая получается из тяжелого, потного мужицкого труда. Вы походите-ка, походите по заводу. Слышите, как вздрагивает пол? Это кузнецкий молот. Уж если здесь его слышно, что же там, каково там Мишке Сафонову поворачивать болванки весь день.

И в самом деле. Я впервые почувствовал тяжелое уханье молота. И стыдно мне стало, что не мог справиться с маленькой оськой для прибора.

— А сходите-ка в обдирочный цех — послушайте, как там визжат резцы, посмотрите, какие искры, да какая стружка летит, да какие скорости у их шпинделей, да какие чушки они зажимают в кулачках патронов, да какой запах там; вы принюхивались, чем пахнет жженый металл? Без любви и понимания жизни, взрослого, человеческого понимания, все это может адом показаться.

Дядя Яша вздохнул. Он, быть может, впервые в жизни говорил так. От боли, любви и обиды.

— А в литейном цехе, там, в первом этаже, как раз под нами, бывали, хлопцы? Видели, как там мужички разливают металл в опоки, слышали, как там грохочут вибраторы, утрамбовывая землю? В общем, приглядитесь, мальчики. Только не делайте поспешных выводов — не завидуйте сгоряча и не пугайтесь. Тяжелый труд во всем, даже когда сидишь в белом халате над чем-нибудь этаким... даже когда, может, поэт стихи пишет...

«Это уж точно, — подумал я. — Казалось бы, чего там — приставлять слово к слову, одно удовольствие, а как я помучился, по ночам заснуть не мог...»

— Человек во все может втянуться, все полюбить, — уже более спокойно сказал дядя Яша. Он будто бы устыдился своей горячности. — Если человек почуяет, конечно, что он на своем месте. А вот где ваше место — это еще надо поискать, чтобы и по уму, и по способностям, по отдаче. Вам-то, я вижу, хочется поближе к чистоте да к деньгам. Всем денег хочется да уютной чистой работы, — покачал головой дядя Яша. — Спроси вон у любого, каждый скажет насчет рыбы, которая ищет, где глубже. Но как же нам всем быть без обдирочного цеха, без литейного, без кузницы, без обыкновенной лопаты? Откуда чего возьмется? Откуда, мальчики? Или вы скажете: пусть кто-нибудь другой, только не мы? Но кто же тогда?

Дядя Яша еще раз оглядел нас всех.

— А может, я, старый перец, ничего не понимаю? Все теперь по-новому. На машины расчет, никто не хочет сор разгребать. По-новому-то оно по-новому, да вот пеленки старые, — усмехнулся дядя Яша. — Человек вон какая современная машина, а и то сколько матерям приходитсяочных горшков выносить. Уж сколько мир стоит, сколько всяких гениев народилось, а выхаживать этих самых современных человеков приходится по-старому. Самая расчерновая работа.

Я удивился простоте и, казалось бы, всем известной истине, о которой сказал дядя Яша. Всем известно, да сказано по-новому, — значит, понять мне нужно так же... И многое еще передумать... Не считать, что уже все знаешь, как иногда кажется.

Голос дяди Яши стал звучать устало, с хрипотцой:

— Только вот если бы каждый относился ко всякому своему делу, как мать к ребенку — и с терпением, и с любовью, и с надеждой, — вот это и была бы нужная современность. Тех, у кого есть такое отношение, и уважать нужно, как мать свою. Не подумайте, что это я на себя намекаю, — это так, к разговору. Просто грустно мне делается, когда сразу начинают с выгоды, как бы не проглядеть тепленького места. А тепленькое место только то, какое сам нагреешь руками, умом,

сердцем, всей своей жизнью. Вот вам мой сказ. Уж извините, если что не так. Пойду, счастливо.

Дядя Яша медленно поднялся и тяжело, вперевалочку зашагал к своему станку в самый дальний угол цеха. А мы еще остались сидеть. Молчали.

Я тоже пошел к станку. Володька и все остальные потянулись следом, к своим местам. Кто-то включил на полную громкость репродуктор на стене.

Цех наполнился протяжными звуками скрипок.

«Надо работать, — говорил я себе, — надо делать дело», — уговаривал я себя, подходя к рабочему месту. А ноги не шли, глаза не смотрели, одни только уши мои охотно прислушивались к скрипкам. Это было так странно: гул станков, постукивание молоточков, шуршание напильников — и нежные звуки какой-то красивой мелодии. Я уже не раз был в филармонии, и мне представлялся белоколонный зал, огромные, празднично сверкающие люстры над рядами мягких кресел, легкие взмахи дирижера и пение скрипок в сосредоточенной тишине. Когда я подошел к станку, музыка смолкла.

— Давай-давай, — сказал сердито бригадир. — Сколько можно, ты как вареный.

Нет, я уже отходил, настраивался. Зажал валик в цанге, включил станок, взял в руки шкурку и вдруг услышал:

«Наш корреспондент побывал в ремесленном училище», — сказал диктор.

А потом послышалось что-то сильнее грома. Писклявый голос закричал на весь цех: «Ремонт станка!»

Да нет же, это вовсе не я читаю стихотворение, и не мое оно. Это какой-то ужасно смешной и нахальный мальчишка говорит, что «мы вправе себя называть докторами, мы вправе себя называть мастерами». Он орет в репродуктор еще и про то, что у него все хорошо, только вот по французскому слабовато. Он орет это, кажется, всему миру. И его слушает весь мир, весь цех.

Бригадир повернулся на своем стуле в сторону репродуктора, чешет за ухом, улыбается. Поблескивает золотая коронка на зубе. Слушают, выбравшись из курилки, рабочие. Поглядывают на репродуктор. Подбежал мастер цеха, сует им наряды, а они отмахиваются, показывают на радио и на меня.

А где дядя Яша? Что-то он далеко. И не смотрит в мою сторону, уткнулся в свой станок. Крикнуть бы ему.

А начальник цеха слушает? А директор училища? А мастер? Наш мастер еще не пришел. А все мои ребята из литературного кружка? А все-все, кто есть в Ленинграде? Ну как же, конечно, слушают. На то и радио, чтобы для всех.

Когда голос диктора смолк, стало тихо. Уж такая наступила тишина, что даже неловко. Как будто я теперь сам, не по радио, а вот отсюда, с деревянной подставки перед станком, должен произнести речь или прочесть еще какое-нибудь стихотворение.

Как только опять послышался голос диктора, было даже странно, что по радио говорят о другом, тем более о коровах и надоях молока. Я отвернулся.

— Ты это здорово загнул про станок, — сказал бригадир. — Уж так ты его расписал.

Было не понять, хвалит он или подшучивает.

— Эй, Пушкин, ты теперь у нас знаменитость! — крикнул Завьялов.
Я не обернулся. А что, может быть, и знаменитость.

Кто-то больно шлепнул меня по плечу.

— Слушай, Леха. Кончай ты эту бодягу, ты теперь стихами будешь деньгу заколачивать, — весело сказал Володька.

— Ладно-ладно, отстань, — сказал бригадир. — Поэтом, как говорится, может он не быть, но работягой быть обязан. Ну-ка, поэт, чьи это слова?

Я напряг свою память — уж очень не хотелось оказаться незнайкой, — но ничего я не мог вспомнить, как ни старался.

— Эх ты, поэт. Это же высказался твой коллега Некрасов. Знаешь такого?

— Еще бы, — сказал я смущенно.

— То-то же. Значит, понял главную идею? А теперь вкалывай, раз понял. И ты, парень, ему не мешай. У меня дело горит.

Скуластое, энергичное лицо бригадира показалось мне строгим, как никогда, и голос его стал покрепче, порезче прежнего. «Уж не завидует ли он мне?» — подумал я.

Володька перед тем, как уйти, шепнул:

— Леха, не мандражируй, ты на подъеме. Сегодня вечером можешь почитать стихи нашим девчонкам, в гости ко мне придут.

Володька ушел. «Какой он хороший парень, настоящий друг, — счастливо подумал я. — И как внезапно все получилось, и как прекрасно».

Передо мной было окно, а за окном безлюдная улица, вдоль тротуара деревья без крон. На каждой культе тонкие побеги, как пух. Только лет через пять ветер снова качнет их подросшие гибкие ветви. А пока...

А пока оказаться бы мне сейчас не здесь, не в цехе, а где-нибудь в другом месте, ну, хотя бы на моей набережной, посидеть бы на пресющих бревнах перед медленным течением воды Малой Невки, увидеть бы, как спешит буксир без барж и без плотов, как он не режет, а упрямо расталкивает воду, посмотреть бы мне на берега, заваленные грудами щебенки и цемента. Не надо мне никаких дворцов, никаких пышных зданий, мне хорошо на бревнах, как нигде, — одиноко, грустно и хорошо. Подумал бы я о том, что прошло, о том, что есть, и о том, что еще впереди.

* * *

— Здравствуй, Заяц! — услышал я за спиной сиплый, даже надсадный голос. Это обращались к моему бригадиру.

— Привет, привет, мужики. Как жизнь?

— Как всегда, круглое катаем, плоское таскаем. — Сиплый бас захотел, как будто часто и тяжело задышали дырявые мехи. Я обернулся.

В кепочке, надвинутой на глаза, передо мной стоял такелажник Иванов. В левой руке у него были широкие перчатки для черной работы. Но лапы такие, что эти перчатки были как раз впору. Я еще никогда не видел человека с такими руками, как у Иванова, с таким квадратным, как будто металлическим, туловищем на коротких крепких ногах, с таким красным большеносым лицом. Иванов казался мне не просто такелажником, каких немало на заводе, а самим подъемным краном, надежным и прочным.

За спиной Иванова стоял в некотором отдалении его напарник. Молодой и, должно быть, не очень-то сильный. Лицо его было безучастно ко всему. В глазах лень и скука и еще что-то такое, от чего парень смотрит с холодом и безучастностью: мол, вы сами по себе, а я сам по себе.

— Зайцев, отдай парнишку на подмогу. Двое моих ушли, не допрем.

— Иванов! Тебе ли помогать? — усмехнулся бригадир.

— Лошадь и та, бывает, подмоги просит, — резонно заметил Иванов.

— Так ты же не лошадь, — не унимался Зайцев. — Стыдно, Иванов,стыдно!

Иванов и в самом деле засмутился, красное лицо его стало багровым, но ответил он бодро:

— Не жмись, дай парня минут на двадцать. Вернули нам этот станок из ремесла. Вроде не такой уж и большой, а запросто пупок надорвешь.

— У меня свое дело горит, — рассерденно сказал Зайцев. — Ладно, бери, но не надолго. Иди, помоги им, — сказал мне Зайцев.

Станок стоял на лестнице на целый пролет ниже нашего цеха. Это был тот самый, о котором я написал стихотворение. Странно было видеть его здесь. Именно сегодня, именно теперь. Как будто он явился ко мне, как является Сивка-Бурка — вещая каурка к своему Иванушке.

Последнее время, когда стоял он в нашей мастерской, я и смотреть-то на него не хотел. Привык к его непонятному цвету, в который мы покрастили, не то светло-серому, не то грязно-голубому.

И все-таки, когда я ближе подошел к станку, сердце забилось. Мне захотелось дотронуться до него, дружески похлопать.

Иванов позвал на помощь почти всех ребят нашей группы. Пришли Колесников, Завьялов, мой Володька, Илья и даже Губарик, который вечно отказывался от всяких трудных дел, ссылаясь на больную печень. Иванов не захотел его и слушать.

Две толстых доски лежали на ступенях лестницы. Два ломика, веревка и широкий брезентовый ремень — все было наготове.

— Хватайся, братва, кто за что может, — скомандовал Иванов. — Только берегись, прижмет — не отпустит.

Иванов, довольный своей шуткой, приспособливал веревку, чтобы мы могли хорошенъко побурлачить.

Мы обленили станок без особого рвения. Володька и Колесников стали рядом со мной.

— Знаменитость, — сказал Иван Колесников, похлопывая станок по станине.

— Это почему? — спросил Губарик. Бледное, остроносое его лицо было вымазано чем-то густым и коричневым — не то тавотом, не то техническим вазелином.

— Отстаешь от жизни, Губарь. — Завывая на все лады, Колесо прочел: — «Мы вправе себя называть докторами, мы вправе себя называть мастерами!»

— А чего не написал: «Мы вправе себя называть тракторами»? — бросил Завьялов.

— Ты бы написал: «Мы вправе себя называть дураками», — разозлился я. Завьялыч пнул меня.

— Эй, силы много! — крикнул Иванов. — Сейчас убудет. А ну, берись. Р-р-раз, два — взяли!

Станок качнулся, пополз вверх, заскрипели доски. Тащить его было тяжело, силы у меня убывали, и постепенно все более враждебное отношение к станку росло во мне. Тяжелый, неподвижный — и еще упирается.

Зачем только я написал о нем стихи? Вымотаешься с ним так, что будет не до работы у Зайцева. «А мне нужно еще помочь тащить стол Андрею на седьмой этаж», — вспомнил я просьбу моего старшего товарища по литературному кружку. Он мечтал купить письменный стол — настоящий, большой, старинный, как у знаменитых писателей, — и вот скопил деньги... Надо будет помочь обязательно. Тоже, наверно, не легче.

Долго и упорно тащили мы наверх станок, до первой площадки.

— Тут один по радио распинался насчет станка, — сказал Иванов, стирая рукавом пот со лба, когда мы решили передохнуть уже возле дверей цеха. — Оно, конечно, складно, только вот не пойму, о каком это он станке: об этом, что ли? Так тут и писать нечего, поднять да бросить. Вот уж разрисовал — и все в рифму.

— Это он у нас стихоплет, — поддел Завьялов, указывая на меня. — Про станок написал, как про мать родную.

— Да ну? — удивился Иванов. — Вот это ладушки. С самим, значит, поэтом станок волокли. Ну-ка, поэт, дай петуха на память.

Иванов протянул свою ладонь, широкую, точно лопата, неудобную для пожатия, необхватную, — никакой в ней не было гибкости и мягкости, как будто она была покрыта не кожей, а чешуей.

— А ну-ка срифмуй че-нибудь, — попросил Иванов, опуская мою руку.

— Так не умею, — сказал я.

— Как это не умеешь? Ты же поэт, а настоящий поэт во всякое время должен уметь срифмовать, вот как я — груз подтащить. Давай, вкалывай, не ленись, — улыбнулся Иванов.

— Так поэты не пишут, — сказал я. — Нужно походить, подумать.

— А ты парень с башкой, с башкой. Походить, говоришь, подумать. Ты, малый, не дурак, — горячо затараторил Иванов. — Где это ты выучился на поэта? Ты знаешь, я ведь в детстве тоже писал. Да еще как. Сяду — и полтетрадки отстрочу, сяду — и опять полтетрадки.

— На поэта не учатся, — сказал я, — это как-то само собой получается, призвание.

— Развитие в уме такое, талант? — поддержал разговор Иванов. Был он очень серьезен, смотрел пристально, прямо в глаза, будто загадку разгадывал.

Ребята стояли и слушали. Завьялов улыбался. Колесо ковырялся в зубах. Губарик все еще старался стереть с лица тавот или вазелин. Стас роста отвернулся, ему неинтересно.

— Такую тяжесть по лестнице тащить тоже талант нужен, — заметил Иванов. — Хочешь, я буду тебе темы давать? У меня их полно. Голова тоже работает. Только пиши. Твое дело — наврать красиво, а уж правды я тебе найду, будь спокоен. А потом как получим куш!

Иванов размахивал руками, хлопал себя по бокам, приседал. Он и шутил, и не шутил.

— Эх, ты бы вот еще песни писал — пишешь, а? — живо спросил Иванов. — Уж такое бывает на душе, а высказать не могу. Хоть плачь.

Иванов смотрел на всех внимательно, ждал подтверждения.

— Хорошее слово — дорого, — сказал Иванов, — чтобы душу излить. Пиши, парень, пиши. Сам бы писал, да таскать некому, — усмехнулся он и отстранил меня от станка. — Ты тут отдохни. Еще пуп надорвешь, не до стихоплетства будет. Мы тут сами как-нибудь.

Иванов сказал это доброжелательно, даже ласково, хоть голос его сипел по-прежнему устрашающее.

«Хороший он мужик, — подумал я, — душевный. Он только выглядит таким медведем».

— Ну что вы, я помогу, — сказал я. — Может, еще и про всех вас напишу. — Сказал это и подумал, что ведь напрасно брякнул, ни к чему. Хвастаюсь. А смогу ли? Но уж очень мне было приятно уважение Иванова.

Теперь помалкивал даже Завьялов со своей язвительностью. Колесников тоже оставил свои шуточки. И Володька молчал, и все. Иванов прав. Мне теперь надо писать. Много-много надо писать. А что? Ведь понравилось Иванову. То ли еще будет. И ничего не надо бояться, никаких трудностей, тяжестей. Не случайно говорят: «Своя ноша не тяжела». Вон как работал и работает дядя Яша. А как Иванов... Сколько своими руками он перетаскал таких станков. Тяжело не тяжело, а надо. Станок — это ведь не просто тяжесть, металл — это самый главный помощник человеку во всяком деле, это, можно сказать, ближайший друг. Говорят, во время войны станки переносили на руках, увозили в тыл так же бережно, как раненых бойцов. Попробуй-ка создай без станка танки, трактора, самолеты... Станок и человек, — об этом еще надо подумать, написать... Какие они будут, станки и люди, через тридцать, пятьдесят лет? А через сто?.. Я обязательно напишу, помечтаю... Ну что так смотрит на меня напарник Иванова? Изучает. Изучай, изучай.

Сашок вдруг широко шагнул ко мне, склонился.

— Чего это у тебя? — испуганно спросил он.

— Где? — удивился я.

— Да вот где! — Сашок дернул меня за мочку уха.

— Отстань! — отшатнулся я, поняв, что меня разыгрывают.

— Ах, да это у вас, товарищ поэт, пыль на ушах, — усмехнулся Сашок. Он был доволен, что разыгрыш получился, что все гогочут. Один только Иванов хохотнул и сразу замолк.

— Ну, хватит! — скомандовал он. — Впрягайтесь, поволокли!

Мне было так стыдно и противно теперь тащить вместе со всеми этот злосчастный станочище, что даже дружеское подмигивание Володьки, — мол, дурак он, этот Сашок, — не утешило меня.

Когда станок втащили в цех, подволокли к тому месту, где его должны были вцементировать в пол, я пошел на свое рабочее место.

«Ничего-то они не понимают, — думал я. — Им, такелажникам, что, поднять да бросить. Я все равно буду писать. Пусть смеется, кто хочет. Пусть обзывают, а я буду, буду писать. Про них же — всю правду, как упрямо пишет мой друг по литературному кружку, Андрей. Днем работает в трампарке, а по ночам пишет роман о нашей жизни. И ничего Андрею не нужно — ни нового костюма, никаких особых удобств,

сидит себе в маленькой комнатке с неяркой лампочкой и, пока мать спит, пишет...»

* * *

Когда я подошел к своему бригадиру, он со вздохом покачал головой.

— Одних отрывают на подхват, другие стихи пишут. Тут вон какое дело горит. Без валиков я как без рук. Не о стихах теперь надо думать — вон какую поэму инженеры насочиняли, не сразу и разберешься.

Зайцев сердито махнул рукой на чертежи. Бледно-розовые листы чертежей были прикреплены к деревянным стойкам и висели над верстаком от края до края, как замысловатые географические карты с густым пересечением линий. Когда Зайцев начинал их читать, разбираться в них перед началом дела, мне иногда казалось, что передо мной не слесарь-сборщик, а штурман большого корабля, намечающий маршрут перед дальним плаванием. Бригадир в самом деле был понимающий, как у нас выражались, «рубил по всей форме». А тут, видно, что-то у него не сходилось, вот он и нервничал.

— Поехали-поехали, — торопил он меня. — Взбодрись. А то у тебя такая сонная морда. Ты что, ночью по крышам лазал вроде мартовского кота?

— Было немного, пришлось не спать, девушки встречал.

Недовольное, жесткое лицо Зайцева расплылось в улыбке.

— Верный рыцарь? Удачно все?

— Да нет, прозевал.

— Э-э-э, гармонист, так дело не пойдет. Теперь тут не проспи, включай станок.

Станок взвизгнул. Тонкий валик закрутился так быстро, что можно было подумать, он недвижим. И только рука, пальцы чуяли через тонкую мелкозернистую шкурку его оборотистое, горячее вращение.

Оттого что бригадир не накричал на меня, а отнесся снисходительно и дружески, вдруг мне стало очень хорошо, радостно. Спать не хотелось больше ни капельки. Мысли текли быстро. Все будет как надо: в срок и точно. Вон как торопится Зайцев, без меня ему никуда. Попробуй собери прибор без этих валиков! Они, можно считать, основа всему, всем подшипникам и шестеренкам. Дело мое непростое. Поставь сюда неумельца — перешкрути, набракуешь — все пойдет в хлам. А я вот — раз — и готово. И еще один валик готов, и еще. Тут нужно только завестись хорошенко, разгорячиться. Справлюсь не только с валиками — с чем хочешь. Поработаю — буду собирать приборы не хуже Зайцева. Кто знает, может быть, на такое дело у меня талант, может быть, я стану сборщиком даже получше, чем он. Может быть, я в отца, а он все умел. Вот, получайте. Вот вам еще и еще. Осталось совсем немного. Этот валик можно даже подшваркнуть шлифным напильником. Как ловко и ладно ложится ручка напильника в мою ладонь. Еще бы. Три года прошли не просто так. Дядя Яша прав, что нет лучшего дела, чем то, которое полюбишь... И дело вовсе не в деньгах... Напильник будто продолжение моей руки. Я, кажется, чувствую даже каленую остроту и твердость его насечки. Она шуршит, снимая легкую, как пыль, и тонкую, как острие бритвы, стружку. Как странно, что я недавно хотел спать и во всем моем теле была тяжесть. Как здорово, когда вот так охота работать.

Я сказал Зайцеву, что все в порядке, и он сразу проверил, туголи, мягко ли налезают на валы подшипники. Проверил и шестеренки, посмотрел на меня, улыбнулся и произнес всего лишь одно слово:

— Хвалю, — а потом развел руками и добавил: — Чего хочешь проси, как у золотой рыбки.

— Мечтаю остаться после училища у вас работать, — сказал я, затаив дыхание.

— Что ж, подумаем. Ты, в общем-то, можешь...

И эта короткая, сдержанная похвала обрадовала меня так, что сердце забилось, я прошелся по цеху перед новой работой, которую мне поручил Зайцев, — прикатывать шестерни.

Как к близкому другу, подошел я к расточному станку, который ждал, когда его укрепят на своем месте. Похлопал станок по холодному гладкому шпинделю. «Я еще не такое про тебя напишу, и про свою работу тоже, и про всех... Интересно: кто будет обрабатывать на тебе детали, какие, хорошо ли? Кто станет твоим хозяином, господином — халтурщик или мастер? Живи долго на пользу всем...»

* * *

После работы я побежал к Андрею, чтобы помочь ему купить стол. Я никогда не видел Андрея таким измученным и бледным.

— Ты работал всю ночь? — спросил я.

— Да, — сказал он. — Это было каторжное дело.

Я понял так, что это каторжное дело не обычная работа в трамвайном парке, а что-то совсем другое, должно быть, роман, который Андрей теперь писал по ночам. Но заговорить об этом я почему-то не смел. Мне было совестно и страшно. Андрей всего на семь лет старше меня, а казался очень взрослым. Он много читал, думал, я относился к нему, как ученик к учителю. Он мечтал посвятить свою жизнь литературе, как подвигу.

Андрей сказал:

— Едва собрал деньги на стол. И те, что отложил на костюм, здесь, в кармане. Ладно, похожу в старом. У Сократа тоже не былоличной одежды, — улыбнулся Андрей. — Ну что ж, пора приниматься за дело, «за привычное дело свое», — прочел он неизвестную мне строчку стиха. Я ее когда-то слышал. — Раз, два — и потащили, — добавил он совсем так, как это говорил такелажник Иванов. — Вот комиссия.

Впереди, по другую сторону улицы, в нижнем этаже дома я увидел комиссионный магазин.

Вот уж знаю, что глупо, а как только войду в магазин, теряюсь, говорю шепотом. Кассиры обычно покрикивают: «Не слышу, не слышу. Сколько?» Продавцы хмурятся и тоже покрикивают: «Да говорите вы толком, что вам нужно!» В ответ я мямялю что-нибудь еще более невразумительное или тоже начинаю покрикивать от стыда и досады.

Сколько бы я ни старался, мне никогда, пожалуй, не удастся говорить с работниками магазинов громко и уверенно, как это делает Андрей.

— Жучков нет? — спрашивает он.

— Ну что вы, — разводит руками продавец.

Андрей ему:

— Мне не нравятся ни жучки, ни жуки, ни всякая прочая жуковатость.

— Насчет жучка будьте спокойны, — уверяет пожилой продавец и стучит по столу костяшками пальцев. — Такой дуб ему не очень-то по зубам.

Андрей обошел стол, оглядел его, обстучал. Легко, по-свойски шлепнул по мордам ощеренных львов на дверцах тумбочек.

Письменный стол был грандиозный, как бильярдное поле. Андрей давно мечтал о таком.

— Вам с доставкой? — спросил продавец, выписывая чек.

Впервые на лице Андрея появилась растерянная полуулыбка, но голос его не дрогнул:

— Не обязательно, нам недалеко. Донесем.

— Да, конечно. Это мы запросто, — подтвердил я, совершенно не представляя, как нам удастся пронести хоть несколько метров громоздкое дубовое чудовище.

— Запросто? — переспросил продавец, от удивления приподняв на лоб свои круглые стариковские очки.

Быстрым взглядом он оценил, какие мы с Андреем носильщики, оглядел наш рост, едва ли подходящий к среднему, неширокие плечи и улыбнулся:

— Тут килограммов сто, не меньше. Если только по частям: отдельно столешницу, отдельно все остальное, да и то... — Продавец пожал плечами.

— Ерунда, — храбро бросил я. — Мне даже станок пришлось тащить...

— Ничего, донесем как-нибудь, — уверил продавца и Андрей. — Начнем, пожалуй, с этой столешницы, с этой... крышки, чтобы только нам самим не было крышки, — мрачно пошутил Андрей.

Крышка стола долго не вылезала из дверей магазина, она как будто посмеивалась над нами или решила нас проучить, или ей было неохота выбираться на улицу одной, без своих привычных тумб и ножек. Она несколько раз ударила в двери то одним углом, то другим. Дребезжали стекла. Продавец ахал и охал. А мы, не успев сделать и нескольких шагов, взмокли и начали сердиться на свою непосильную затею.

На улице наших сил хватило еще метров на пятьдесят. Мы преодолели эти метры беглым шагом, едва не сталкивая с панели прохожих. Еще бы немножко — и мои пальцы разжались сами собой.

— Стой! — закричал Андрей. — Отдохнем!

Крышка, не успев еще коснуться асфальта, выскоцила и гулко грохнулась, подняв пыль. Какая-то женщина вскрикнула, а толстый прохожий с портфелем и в шляпе не удержался:

— Эй, ноги отдавите!

Андрей быстро повернулся ко мне.

— Ноги — это ерунда, — сказал он. — Ног не жалко. А вот руки, пальцы — это посеребренное, поближе к душе. Пойду поищу какой-нибудь транспорт. А то и в самом деле нам будет крышка.

Двухколесную тележку Андрей отыскал не скоро. Мне надоело ждать. Хозяин тележки оказался предупредительным, суетливым сверх меры и словоохотливым.

— Ну как это мы запросто, — сказал он, взглянув на крышку стола. — А где тумбы? Поехали за тумбами. Крышку вниз, а сверху тумбы. Хороший ты столик приобрел, хороший. Такой век будет стоять. Писать, что ли, будешь? Ну, правильно. Для письма дело надежное. На нем не то что писать — хощь спи, хощь танцуй, и место еще останется. Во деляли старики! И сколько же ты отдал за такое?

— Полжизни, а может, и всю, — сказал Андрей. Но хозяин тележки не понял, в чем тут дело, хоть и кивнул согласно головой. Андрей решил сказать определенное. — А вообще-то, немного, совсем немного. Шесть бумаг.

— Что ж, годится, стоит того. Я, конечно делом, подумал, что больше, даже намного больше, — льстиво удивился наш помощник. — Это все-таки антиквар.

— Вот мы и нашли для этого антиквара вашу, — Андрей кивнул на тележку, — антитару.

Довольно легко и ловко погрузили мы нашу дубовую тяжесть, вернулись в комиссионку и взяли все остальное. Тележка на высоких колесах ходко повезла поклажу. Хозяин толкал тележку словно бы без всяких усилий. Он торопился. Его, наверное, ожидало еще какое-нибудь выгодное дело. Мы дошли до Кузнецкого переулка, и вот уже тележка свернула вправо, въехала в гулкий двор и остановилась как раз напротив парадного Андрея.

— Вы уж помогите нам и наверх все это перетащить, — попросил Андрей хозяина тележки.

Он приподнял замусоленную кепочку, шумно почесал вспотевшую голову.

— Я уже со всем моим удовольствием. Только подкинуть нужно.

— Сколько?

Хозяин тележки стал считать этажи.

— На седьмой?

— Да, на седьмой.

— Ладно уж, полбумаги в придачу — и сговорились.

Андрей рассердился. Холодно и отчужденно взглянул он на неряшливого субъекта в кепочке, в старой шинели, с помятым опухшим лицом.

— Мы бы с тобой сговорились, мы бы очень с тобой сговорились, если бы у меня, хозяин, было чем с тобой говориться. А вообще-то, я очень рассчитывал, что ты до конца...

— Я и так до конца, а у тебя опять все сначала. На тачке одна работа, на горбу другая. Так-то, мой милый, мне твоих денег задаром не нужно. Я тоже понимаю, что к чему. Ну как как, подкидываешь или сам?

— Или сам, — усмехнулся Андрей. — Это ты хорошо заметил, что на тачке одна работа, на горбу другая. Выходит, что, раз мой это гроб, мой должен быть и горб.

— Ну-ну, — сказал тележечник. — Мудрено говоришь. Дело хозяйственное. Полбумаги — это не деньги.

— Деньги не деньги, а я тебе могу предложить разве только полгазеты, — начал Андрей, но тележка уже загромыхала по старому выщербленному асфальту, оставив все части могучего стола возле наших ног.

Ножки и тумбы мы подняли быстро. А вот тяжеленная крышка,

которая едва-едва умещалась в лестничном пролете, досталась нам каторжно тяжело, как будто стол нарочно испытывал нас, особенно Андрея, напоминая ему о тяжести будущей литературной работы.

После каждого поворота на новый этаж мы с Андреем долго не могли отдохнуться. Он шел впереди, я сзади. Мы не разговаривали, было не до слов. Вот где пригодились бы сила и сноровка такелажника Иванова...

На шестом этаже мне показалось, что еще немного — и мы сбросим вниз, в пролет, то, чего уже не могли держать наши руки. Крышка стола, как назло, все чаще тыкалась углами в стену, в перила, в двери квартир.

Андрей был неузнаваем: багровые щеки, вздувшаяся вена поперек лба, чернота под глазами и полуоткрытый рот. Уж кем-кем, а такелажником ему не бывать, не по силам!

— Давай поменяемся местами, тут полегче, — предложил я.

— Может быть, и полегче, — тяжело прохрипел Андрей, — но не для меня. Я еще не пробовал носить на горбу. Чем тяжелее, тем лучше: мне это пригодится на будущее, будет напоминать...

Перед последним подъемом, между шестым и седьмым этажами, Андрей и в самом деле взвалил крышку себе на спину. Она пригнула его почти к самым ступеням; покачиваясь при каждом шаге то вправо, то влево, она как будто решила подмять под себя своего нового владельца.

Я шел за другом, изо всех сил стараясь облегчить его тяжесть, хоть сам пошатывался, с трудом удерживал край стола онемевшими пальцами. Мне придавало сил только то, что казалось, мы совершаляем подвиг во имя самого главного своего дела — весомого слова на бумаге: в прозе, в стихах... Я вспомнил стихотворение Марины Цветаевой, оно так и называлось «Стол», его любил Андрей и часто мне читал:

Мой письменный верный стол!
Спасибо за то, что шел
Со мною по всем путям.
Меня охранял — как шрам.

Мой письменный верный мул!
Спасибо, что ног не гнул
Под ношей, поклажку грез —
Спасибо — что нес и нес...

Всего я не помнил, и даже знакомые строчки не очень-то шли на ум под тяжестью дубового стола... «Всем низостям — наотрез! Дубовый противовес... Стол, выстроивший в столбцы горящие: жил багрец! Деяний моих столбец!...»

И лишь последняя строфа вспомнилась полностью:

Так будь же благословен —
Лбом, локтем, узлом колен
Испытанный, — как пила,
В грудь въевшийся — край стола!

Когда крышка легла на тумбы, мне показалось, что комнаты Андрея больше не существует, а есть только стол, его огромное темно-зеле-

ное поле с чернильными пятнами. К стенам притиснулись: никелированная кровать с двумя высокими подушками и желтым, связанным из ниток покрывалом, низкий диван и маленький обеденный столик возле окна, рядом с которым мы еле втиснули тумбочку с книгами.

Письменный стол был сам по себе, никак не подходил он ни к вещам, ни к размерам жилья. Я смотрел на него, и он мне не нравился. Он испортил всю комнату. Она была маленькой, но всегда казалась мне уютной. Сколько вечеров за долгими разговорами я провел здесь с Андреем. Сколько праздников мы отпраздновали! Собиралось человек по десять — двенадцать — и ничего, всем хватало места, даже удавалось танцевать на крошечном пятаке возле окна, переплет и подоконник которого Андрей покрасил яркой голубой краской.

Андрей придинул к столу шаткий стул с изогнутой спинкой, опустился на него. Потом встал, подошел к обеденному столику, заваленному книгами, толстыми тетрадями и самодельными блокнотами. Он взял в руки один такой блокнот, подул на него со всех сторон, чтобы слетела пыль, раскрыл, взгляделся в какие-то записи, не спеша вернулся к своему шаткому стулу, но не сел, поставил на стул одно колено, спросил меня строго:

— Ну, теперь ты понимаешь, для чего я купил такой столице?

— Честно говоря, нет, — признался я. — Ведь писать можно где угодно, за чем хочешь...

— Э, нет, мой столвозноситель. Ты прав, да и не прав. Такой стол — обязывает. Как, скажем, расточной станок. Видел, приходилось? На нем размах работы иной...

— Как же, видел, ремонтировал даже, тащил сегодня в цех... Стихотворение написал, тебя не было, ты не знаешь его...

— Ну-ка, прочти.

Я стал громко читать «Ремонт станка». Андрей улыбнулся.

— Вообще-то, ничего. Это ты хорошо заметил, что каждый к работе, как к хлебу, привык. Но по-настоящему нам еще надо вживаться, привыкать к тяжелому труду — и заводскому, и писательскому... Это ведь каторжная работа — скрипеть пером по ночам. А в стихах у тебя многовато о металле, о душе надо больше, о человеческих страстиах — это по-труднее...

«Не принял, — подумал я с легкой обидой. — Иванов тоже не очень-то принял, посмеивался. И ребята не очень».

— Это стихотворение даже по радио передавали, — сказал я.

— Ну и что, — поднял глаза Андрей, посмотрев на меня с некоторой иронией. — Это еще мало что значит. Однодневка. Надо писать нечто вневременное. Сначала могут и не принять современники, а потом — дорастут, поймут... На быстрый успех рассчитывать не следует, если хочешь сделать что-то настоящее.

— Я еще не знаю, Андрей, чего я хочу... И слесарное дело люблю, и стихи писать...

— Понимаю, ты еще в поиске. А вот я решился. И где-то, в чем-то надо рубить канаты, рисковать, а иначе...

— Я вообще не знаю порой, где я, кто я... То мне с ребятами из ремесленного хорошо или на заводе, то они надо мной почему-то смеются... то мечтаю жить, как ты и как наши ребята из литературного кружка...

— Ничего, ты узнаёшь жизнь, разные ее стороны, переходишь из одной среды в другую, ты в поиске, да, в поиске. А жить, как я... о, подожди. Вот послушай. — Андрей стал читать из блокнота запись: — «Страсть к бумагомарательству является, очевидно, признаком развращенности века... пустое это занятие становится возможным лишь потому, что всякий начинает нерадиво отправлять свою должность и отбивается по этой причине от рук...»

Я слушал и удивлялся. Если Андрей так плохо думает о писателях, то для чего он купил этот стол? И вообще, к чему все эти переживания? Решился на такую судьбу?.. Может быть, свои слова он обернет в шутку, он часто так поступал: какой-нибудь самый серьезный свой разговор внезапно заканчивал так, что нельзя было не улыбнуться.

Я сидел на диване и смотрел на Андрея. Без него я так и не понял бы, наверно, для чего мне нужно жить и что делать, а теперь я, кажется, начинаю понимать. Нужно решиться на что-то одно, главное, сосредоточить силы и тянуть, терпеливо и упрямо тянуться вверх, как поднимали мы стол... Или как поднимали мы станок...

Андрей помолчал, посмотрел на меня, будто спрашивал: «Ну, как, здорово написано?» — и улыбнулся.

— Это не я сказал. Великий Монтень. Ты о таком еще не слышал, наверно. Этот француз был, пожалуй, самым умным человеком в свое время. Видишь, как он говорит о бумагомарательстве: пагубная страсть. И этому можно было бы поверить, если бы обо всем этом не было написано так прекрасно. Он этим сам себя и опроверг. Он забавляется, шутит, поддразнивает. Ему-то что. Он знал, что он — на века. Он Монтень!

Андрей распался, стал ходить по комнате, размахивая руками:

— Но мы тоже себя опровергаем. Наш страх говорит нам: «Куда ты лезешь, неуч? Твое ли это дело — писать?..» Но я должен заткнуть глотку этому страху. Когда я сажусь за стол, хоть я и из ремесленного — я не ремесленник! Это до конца, всерьез. Бывает даже страшно. Правду жизни вообще рассказывать страшно... Но только так, а не иначе можно что-то сказать людям, обнажив и обнажившись... Я решился. Я буду писать роман, это будет Роман Романович... Пусть буду жить — без сна, без денег, без всех благ, неважко. Решился...

Андрей взмахнул рукой, как рубанул. Маленький, взъерошенный, уверенный в своих силах, он мне показался великим в эту минуту, как сам Монтень.

Я подошел к окну, раскрыл его, навалился на подоконник, взглянул вниз, во двор. Этаж за этажом побежали вниз. Во на какую высоту мы подняли наш стол, даже не верится. Теперь бы ни за что не повторить такой рейс. Верно говорят: «Глаза боятся, а руки делают». И я когда-нибудь решусь.

На потрескавшемся асфальте три девчонки играли в классы: прыжок, остановка. Хорошо им. Еще ничего о себе не знают. Им все — праздник...

— Ты читал когда-нибудь рассказ Джека Лондона «Мексиканец»? Ну так вот...

Я повернулся к Андрею лицом, кивнул.

— Так вот, помнишь, победил в бою щедрый, нет — именно много-душный, большедушный, великодушный.

- И еще терпеливый, как тот мексиканец.
- Да, терпеливый.
- И еще выносливость нужна, — добавил я.
- И выносливость, — опять согласился Андрей. — Если бы моя мать не была выносливой, давно бы тут не сидела, у окна, — сказал Андрей. — В блокаду меня выходила, и вообще...

Я знал, что настоящая мать Андрея бросила его, ушла жить в другую семью. За воспитание взялась сестра матери. Всю жизнь она проработала на папиросной фабрике, каждый вечер, очень усталая, долго сидела у окна и курила самые дешевые папиросы, «гвоздики». Обычно она была тихая, спокойная, терпеливая, Андрей ее любил.

— Хорошая у тебя мать, — сказал я. — Такими людьми можно гордиться...

Андрей зашагал по комнатке — три шага в одну сторону, три в другую.

— Да, можно и нужно, согласен... Они сделали свое дело... А вообще-то, надо теперь сделать так, чтобы можно было гордиться своей жизнью.

Андрей стал рыться в книгах и блокнотах, горячо рассуждая:

— Оказывается, существуют в природе сразу два Андрея Фролова. Я тут кое-что перечитывал, думал... Я есть живой — с мясом и kostями — и другой я, вся жизнь которого — в словах, на бумаге. Две мои половинки умерли бы друг без друга. Но пока они есть, пока они сталкиваются, разъединяются, рождают молнии и громы, я есть полностью, я не просто существую... Боже мой, в каждом из нас, оказывается, живут такие страсти, такие черные, серые, красные и всякие прочие голубые силы — не знаешь, что и делать, как бороться и как побеждать, кто ты, в чем ты, куда тебя несет? От самых пеленок уже начинает всплыть душа. На весь мир ей хочется заорать. Чего она требует? Что для нее самое-самое в этом мире?

Я не знал, что в этом мире «самое-самое», — может, хлеб, соль, правда, ум... поиск себя?

— Ты только послушай, что я нашел в своем дневнике, — сказал Андрей.

Он быстро полистал толстый блокнот, сел к столу, начал читать:

— «Я никогда никому не скажу этого, но боже мой! Что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи — ничего мне не страшно. И как ни дороги, ни милы мне многие люди — отец, сестра, жена, — самые дорогие мне люди, — но как ни страшно и неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас за минуты славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать».

Андрей медленно поднял на меня воспаленные глаза. Я увидел, что он хочет услышать от меня какие-то слова, но больше всего боится неточных, не тех слов, какие должны быть в эту минуту и которые он лучше всего знает сам.

— Это тоже не я написал, — сказал Андрей. — Но в своем прощальном письме я мог бы это написать. Это мысли князя Андрея перед Аустерлицким сражением.

Мой друг оглядел свою захламленную комнату.

— А тут вот мой Аустерлиц. Бородино и Куликово поле. Только кровь не видна.

Андрей ходил по комнате туда и обратно. Маленький, сутулый, смешной в старых, присподающих брюках с баxромой над стоптанными ботинками.

Если бы только у меня хватило ума сказать что-то важное, как-то убедить Андрея, успокоить его, чтобы не брался он за что-то непосильное. Но я не находил слов, не мог вымолвить, что надо бы ему отнестись к себе попроще. Но как это? Что это — попроще? Я тоже не знал...

— Тебе не кажется, что я сумасшедший? — спросил Андрей с иронией.
— Что ты.

— А мне вот кажется. Особенno по ночам, когда я не сплю. Такая приходит ко мне тоска. Ничего не могу понять. Кто я? Зачем я? Во имя чего вся моя жизнь? Почему это можно, а это нельзя? Как сделать, чтобы все мои желания совпали с необходимостью: работа, быт и прочее?

Андрей вздохнул, сказал уже спокойнее:

— От самого сотворения мира над этим думали и думают люди. Уж сколько передумано. Один Лев Толстой написал девяносто томов. Может быть, уже хватит? Не стоит больше? Пусть все идет, как идет, все будет, как будет? А, как думаешь?

Я почувствовал, что Андрей спрашивает не для того, чтобы я отвечал. Он, кажется, все знает сам, хочет еще раз что-то понять, высказать-ся, излить душу, в чем-то убедить себя.

— Ну кто мы с тобой? Пирамиды не построили, колеса не изобрели, «Войны и мира» не написали. Пигмеи. Песчинки на берегу моря. Ракушки на днище корабля. Винтики в паровозе.

Это Андрей-то ракушка? Все во мне было против этого. Но Андрей не дал мне говорить.

— Слушай, дружище! А может, нам жить да жить понемножку? В уголку, а? Там где-то кто-то дерется — ну и пусть. Пресколько узнаем в одну прекрасную минуту, что уже коммунизм. Уже все построено: квартиры для всех, магазины с чем захочешь, дороги для наших собственных машин. А главное — все давно утряслось, все стали умными, нравственными, добросердечными людьми. Толкнул кого-нибудь, а тебе: «Извините, пожалуйста». Сказал: «Я хочу писать роман», а тебе: «Будем очень рады, вот вам бумага, чернила, вот вам взморье, чтобы вы прополоскались, когда устанете. Творите, пожалуйста...» Но вот беда: всегда кому-то будет тошно. Всегда что-то будет хотеться всем, а что-то — одному. Мне, тебе, Петру Петровичу. И между этим «всем» и «одному» всегда будет и буря, и гроза, и молния. И никаких громоотводов.

Андрей все еще ходил по комнате, мял пальцы, нервничал, изредка посматривал на меня: слушаю ли, понимаю ли?.. Говорил он громко, горячо. Я хоть и привык к его многословной манере изъясняться, но не все мне было совершенно ясным.

— Послушай, друг: а может быть, есть все-таки эти громоотводы? Философия, искусство? А может быть, это, наоборот, сама гроза? Ведь с них начинаются все переустройства... Все сражения... Что ж, по-твоему, невежество и беспорядок — идеал всему, всего? «Ибо во многой мудрости много печали; и кто умножает познание — умножает скорбь», как сказал один древний мудрец. Но, в общем, хватит рассуждать обо всем человечестве и о целом мире, когда в моем мире такой развал...

Андрей оглядел свою маленькую комнатку, заставленную, заваленную вещами.

— Ну неужели все, что я сказал и говорю, только пустые слова, звуки? Тогда лучше просто заткнуть себе рот? А заткнешь — страшно. Распухаешь, как тесто. — Андрей медленно развел руками, показывая, как всучивается тесто. — Ты разбухаешь, разбухаешь, плывешь через край, и кажется, вот-вот случится что-то ужасное... Или обыкновенная лепешка, — улыбнулся Андрей. — Не идут из ума девяносто томов Толстого. Девяносто томов! Пятьдесят тысяч страниц, миллионы слов. Ни на себе, ни на телеге не увезешь. А все — вот тут и вот здесь... — Андрей сначала постучал себя по лбу, потом приложил руку к сердцу. — Теперь скажи: мог бы Толстой столько прожить, сколько он прожил, если бы не писал? Ни за что. Он умер бы от кровоизлияния в мозг. Или сошел бы с ума. Никакой человеческий организм не выдержит, не унесет в себе столько страстей. Талант, ум, чувства — это все не озера — это реки. Им нужно течь — давать жизнь траве, деревьям, людям. Я сейчас говорю не только о себе или о тебе. Вообще всякий человек талантлив. И все добрые таланты необходимы людям, как вода и воздух. Талант — создавать стол... станок... стихи... «Мы спасем тебя, русская речь, великое русское слово...» Это сказала Анна Ахматова в самые трудные годы войны. Русская речь была для нее, как и для всех, величайшей духовной ценностью... Нам посчастливилось хотя бы прикоснуться ко всему этому... И мы должны быть достойны. Мы обязаны достигнуть мастерства... Мастерство — это, брат, спасительное счастье для каждого... Я только пытаюсь, пробую, пишу и переписываю то многу раз... Ищу... Вот послушай... Это из недавнего...

Андрей снова присел к столу — полностью, основательно он сесть за него почему-то не мог, не привык еще... Достал новый блокнот.

— Называется «Ночные вести».

«Я проснулся посреди ночи. Услышал, как задребезжали стекла моего окна, когда вылезла из подворотни во двор машина, привозящая хлеб для нашей булочной. А потом разглядел я в сумраке лепные узоры на белом потолке. В душе моей не было ночного страха, но не было и покоя. Как будто разбудило меня предчувствие беды, а вернее, сама беда, спрятанная глубоко во мне. Как будто мой поезд сошел с рельсов. Или кто-то выдернул «колышек» моей привязи и сам я, и все во мне обрело свободу, которая и не свобода вовсе, а страх, неведение и беззаконие. Я попал в такой мир, в такой ход вещей, где каждое движение души и тела ничем не предопределено, не имеет смысла, но и не бессмысленно, где ты только сам (или, точнее, кто-то в тебе, которого ты ощущаешь самим собой) всему порядок, первый шаг и последний.

Кто я??

Я — ВОЛЬФ МЕССИНГ, знаменитый гипнотизер. Самое значительное, чем я обладаю, — это вера в себя. Одним лишь внушением я могу избавить человека и от зубной боли, и от болезни души... Я могу усыпить себя и подойти к самому порогу смерти, а потом все-таки оживить себя. Могу разгадывать чужие мысли, ибо я — Вольф Мессинг».

Андрей остановился, взгляделся в меня, — наверно, решил было объяснить, как мне нужно понимать его и что это за символика, но я уже догадался, кивнул головой: мол, читай дальше, я внимательно слушаю...

И в тишине, в которой слышно было, как тикает будильник, Андрей глухо продолжал:

— «Я — АНДРЕЙ ФРОЛОВ. Самое значительное, чем я обладаю, — это уверенность в себе. Нет, нет, совсем не так. Я — Андрей. Фролов. Самое значительное, чем я обладаю, — это неуверенность в себе: сомневаясь, познавай — и тогда поймешь. И я не могу никого излечить ни от зубной боли, ни от болезни души. Я могу только сам почувствовать зубную боль, если стою рядом с тем, кто охает и держится за щеку, ибо я — Андрей Фролов.

Я — ВЫДУМЩИК. Я могу придумать в плохую погоду — солнечный день. Без выдумки мне никак не обойтись, не прожить и одного дня. Иногда мне даже кажется, что Андрей Фролов — это вовсе не я на самом деле. Ведь я, когда бреду по лесу, могу стать грибом, птицей, листком. Когда читаю книгу, могу бежать в атаку со знаменем в руках, будто я — князь Андрей, могу сражаться на шпагах, как сражался д'Артаньян, могу даже любить, как любила Татьяна Ларина.

Я придумал себя. У одного моего «я» рост всего лишь метр шестьдесят семь, а у другого... и вот получается так, будто самые разные качества моей души и всякие мои нервные окончания переросли границы моего тела и вот теперь я хожу и задеваю всех и все непомерно и немыслимо разросшимся собой. Придумал ли? А может быть, открыл? А может...

Мало кто знает, как мне бывает порой страшно. И не только от того, что я быстро и часто перебираюсь из одного не вполне освоенного себя в другого, уже совсем неведомого, а еще и потому мне страшно, что я все дальше и дальше ухожу от моих надежных правил и привычек, от былой моей ясности.

Я — Андрей Фролов. Но это проще сказать, чем подтвердить. Одно дело — сказать или даже выкрикнуть всей горячей звонкостью, неясностями и сомнениями и бог знает куда взлетевшей душой — выпустить свое признание в мир, как птицу в небо, но совсем другое дело — произнести свое имя равнодушно, как в строю на перекличке. Да, конечно, по-разному произносится свое имя. И не только губами, а и молчанием, и ударом кулака, и танцем, и печением хлеба, и добыванием соли, и словом на белой странице.

СЛОВО. Как трудно бывает отыскать среди бесчисленной стаи слов то единственное, которое верно и необходимо в реальную живую минуту. Я люблю словоискателей, словоманов, словоснайперов, словопоклонников. Словом можно возвеличить и можно убить, это знает каждый. Как много в мире горя от неверно понятых слов! И как сделать, чтобы каждое слово было ясным и наполненным тем единственным смыслом, которым оно рождено в нашем сердце? Хорошее слово чаще всего рождается хорошим молчанием. Само слово, его звук, пожалуй, лишь крылья птицы, а вся птица — я сам. И надо во всякий день, во всяком деле, подобно реставратору, пробовать добраться до самого лучшего, подлинного в себе слова. Каков он, этот слой, я еще не знаю, лишь догадываюсь.

Однажды ночью, мне кажется, я все понял... Все просто и надежно... Есть тень, и есть свет. Есть горе, и есть счастье. Все люди вздрагивают от внезапного выстрела, отдергивают руку от огня, скорбят, когда умирает любимый человек. И каждому живущему на земле нужно только помнить об этом. Мы все живем не только сами в себе, но и в каж-

дом другом, ибо знаем, что это такое — улыбнуться или побелеть от обиды, быть любимым или обожженным ненавистью.

И как хорошо, что все, о чем я думаю сейчас, уже рождалось в чьей-то голове, было уже и то, и это, и все, а я лишь внезапно попал на огромный весенний луг и бегаю, собираю в охапку цветы всего, что было, что виделось и зналось многими, и лишь только теперь пришел мой черед. Будут и мои цветы на этом лугу!..»

Андрей остановился, положил блокнот посреди стола, устало проторглаза. Я хотел было сказать, что все это здорово, откровенно, что все это мне нравится, Андрей талантливый человек, пусть не сомневается в себе...

Но вот открылась дверь, в комнату вошла мать Андрея, Пелагея Петровна, маленькая, сухонькая женщина с желтым сморщенным лицом. Она сняла платок, пригладила встрепанные волосы, медленно оглядела комнату, громадный письменный стол, меня и сына.

— Я так и знала, — сказала она, опускаясь на стул возле окна. — Думала, копиши себе на костюм. Оборвался весь. Стыдно смотреть.

— Не расстраивайся, ма, — тихо сказал Андрей. — Мне очень нужен этот стол, ты же знаешь...

— Чего я знаю?! Ничего я не знаю. У меня от забот голова разламывается, а ты все в писульки свои играешь. Скажи ты мне только, ради бога: какой прок от всех этих бумаг?

В комнате стало очень тихо. Громче затикал будильник.

— Да кто же это тебя надоумил, кто дал право издеваться над матерью! — заплакала Пелагея Петровна. — Всю войну тебя тянула, всю блокаду. Сама подыхала, а тебе — на, ешь корочку. Думала, выживешь, кормильцем станешь. Накормил, спасибо, сыночек. Господи! Да на что мы жить-то будем?

— Не беспокойся, ма. Я вот напишу, и все окупится...

— Уйди, уйди! Чтобы и духу твоего здесь не было!

— Мы уйдем. Отдохни, успокойся, — сказал Андрей.

И мы ушли...

Это была трудная прогулка по городу. Мы то молчали, то признавались в чем-то самом сокровенном, оправдывая Пелагею Петровну и стараясь друг перед другом объяснить себя, трудность и необходимость наших поисков.

— Когда-нибудь мы добьемся своего, — сказал Андрей, — преодолеем все... Пусть в нас сомневаются, мать — старая женщина, ей тяжело, знаю... но и нам начинать свой путь не легче... Мы должны верить в себя... Я напишу свой роман... А ты когда-нибудь издашь книгу стихов... Пусть будет в ней про всю нашу жизнь и даже про то, как ты ремонтировал станок. Кто-то на твоем станке сделает замечательные вещи, а мы расскажем о себе и об этих людях, опишем наше время... Время... Ты слышишь, как оно гудит, мчится и стоит на месте, — через нас его движение...

* * *

Много прошло времени с тех пор, как мы ходили с Андреем по городу, мечтали. Друг написал свой роман, назвал он его «Остров», но издать не удалось, что-то не получилось, не совпало с мнениями



редакторов. Андрей пишет до сих пор — рассказы, повести, откладывает их в стол — ждет своего часа... Верит в него. И я верю.

Мне не удалось издать книгу стихов, тоже что-то не получилось, не совпало... пишу, жду, надеюсь. А вот моя проза — так неожиданно — была издана, и я уже рассказывал читателям об Андрее и нашей той, далекой и такой близкой, жизни, с которой я многое в себе соизмеряю...

Стихотворение «Ремонт станка» я еще не раз читал в школах, профтехучилищах и в клубах с эстрады, ездил даже с ним в Москву на всесоюзный смотр художественной самодеятельности трудовых резервов.



А не так давно увидел заметку в газете «Ленинградский рабочий». Она называлась «Человек, который работает творчески». В ней было написано:

«Есть люди, которые трудятся творчески, и есть люди, которые просто ходят на работу. Василий Васильевич Федоров из первых».

Это имя было мне незнакомо, и я не придал бы заметке никакого значения — мало ли повсюду честных тружеников. Но следующие строчки привлекли мое внимание:

«В 1954 году он закончил ремесленное училище номер шестьдесят три и пришел в цех токарем горизонтально-расточных станков.

Через год ушел в армию, отслужил положенное, вернулся снова к станку. Сейчас он один из лучших расточников в цехе. Он кавалер ордена Трудовой Славы.

Все взволновало меня в этой маленькой заметке. И то, что вместе с Василием Федоровым мы учились в одном училище почти год в год, и то, что, быть может, на моем станке он начинал свой трудовой путь, и то, что стал таким уважаемым специалистом, как я и загадывал.

Я не мог не встретиться. Федоров оказался мягким, немногословным. Мы повспоминали о прошлом, я рассказал свою историю про станок и стихотворение, и моя догадка подтвердилась.

Да, это был тот самый станок. Работал не очень-то, но все же дал первые навыки, первый опыт. Главное, что он надумил Федорова пойти творческим путем. Искать надо было новую оснастку — резцы, приспособления. Кое-что Федоров изобрел сам, кое-что перенял у известного токаря-расточника Ижорского завода, кавалера ордена Ленина Игоря Николаевича Семенова.

— Он создал «летучий суппорт» — я в журнале прочел, — сказал Федоров. — И чертеж увидел. И еще он много чего придумал — целый набор универсальных инструментов для станков нашего типа... Вот кто творец, голова.

Больше всего Василий Федоров рассказывал мне не о своем деле, отмахиваясь: «Да что там, сделал как положено...», а вот именно об Игоре Семенове.

Я и с ним не мог не встретиться: мы все втроем оказались как бы побратимами. Семенов — человек другого характера, нежели Федоров. При встрече он сказал:

— Не скрываю, я фанатик. И вообще люблю фанатиков своего дела.

Слово «фанатик» он произносил с особым чувством. Мол, поймите правильно, я говорю о степени заинтересованности человека в своем деле. Не по мне вялые исполнители, у которых все лишь бы как-нибудь.

Горячая натура, живой ум обычно притягивают, ведут за собой, и очень скоро я попал под обаяние Игоря Николаевича Семенова.

Ему сорок восемь лет, но выглядит он значительно моложе. Не пьет, не курит. У него атлетическая фигура, открытое, чисто выбритое лицо, ясные, все подмечающие глаза. Волосы густые, с рыжиной, зачесаны назад, набок, как это было модно когда-то давно. В речи, в жестах —держанная сила. Он ничего в себе не утаивает, не видит смысла таиться. Достоинства и недостатки — все при нем, все на виду, уж какой есть, таким и принимайте. Или — не принимайте...

— У меня неудобный характер, — улыбнулся Игорь Семенов. — Во всем хочу быть первым. И уж если ухвачуешь, не отпуши...

В спортивной лодке он был загребным. В армии — лучшим танкистом. На заводе стал лучшим токарем. Ему доверили многотонные детали, сложнейшие по технологии обработки, необходимые для атомного машиностроения.

Игорь Николаевич — потомственный рабочий, на Ижорском заводе работали дед, отец, мать. И когда создавался первый отечественный блюминг, и когда приходилось трудиться от зари до зари под обстрелом вражеской артиллерии в годы войны. Так что все для Семенова на заводе — кровное. И не мог он смириться с тем, что резцы и вся оснастка для тяжелых расточных станков не соответствуют требованиям

времени. Любимая его присказка: «Успех дела — на острие резца». И еще он говорит об успехе станочника так: «Это — мастерство плюс инструмент».

Больше двадцати лет он вынашивал, воплощал в чертежах и в изделиях идею унифицированного инструмента. Такого, чтобы все было надежным, удобным, красивым, чтобы любой токарь-расточник захотел бы с удовольствием применить его в деле.

Сколько бессонных ночей провел Игорь Семенов над ватманом — не счесть. Трудным было не только рождение самой идеи — недоставало знаний во время расчетов или вычерчивания чертежа, приходилось обращаться к специалистам.

Самому-то пришлось учиться в годы войны, в голод, холод, когда по трое, четверо сидело за партами и учебник был один на десятерых. Так что знания пришлось добирать попутно с основной работой. Талант, упорство, труд — победили. Человек создавал инструмент, но и сам инструмент создавал человека, открывая в нем новые и новые запасы возможностей, испытывая характер, рождая стиль жизни. О своем инструменте Игорь Семенов рассказывает вдохновенно, как поэт.

Победа пришла через двадцать шесть лет. Теперь уже существует отпечатанный в типографии каталог инструментов Игоря Семенова. Плодами его творчества, его бессонных ночей и его успехов могут воспользоваться все, кто пожелает, кто к работе, как к хлебу, привык...

— Дело пошло, — сказал Семенов. — Это все пригождается не только нашему заводу. Вон уже из Тулы приехали, с других предприятий, только давай...

Что-то детское появилось в лице Игоря Николаевича, торжественное, горделивое, будто он спрыгнул с крыши высокого сарая у всех мальчишек и девчонок на виду. И тут я напомнил ему:

— Вы как-то обмолвились, что ваша любовь к расточному станку началась еще даже в детские годы. В чем тут дело, расскажите.

— А, точно... Было мне лет тринадцать. Отдыхал я у своих родственников в деревне под Ярославлем. Деревенька та называлась необычно: Песчинка, на берегу реки с названием Княгиня. Там был один горшечник очень известный, хоть мастеров в той деревне было немало. Я любил приходить к этому умельцу, смотрел подолгу, как он делает свои горшки. Простейший круг, колесо, колобашка, а такие чудеса вытворял мастер, горшель. Гончарный круг — это ведь детство человечества, начало всех станков. Гончарный круг, как колесо телеги, поражает своей простотой и необходимостью. Вот мне и запало, значит... Жив ли тот мастер, уж стариk, наверно, глубокий, если жив. Удивительный человек, лицом как будто с иконы сошел, апостол... Спасибо ему за все...

— Да, — сказал я. — Неплохо бы повидать того человека. Деревня Песчинка, говорите? А имени мастера не помните?

— Забыл, к сожалению. Горшель и горшель, так его звали все.

— Удивительные живут люди на свете. Я знал одного изобретателя вроде вас и умельца вроде горшеля... Это Филипп Александрович Прибылой. Его велосипедные моторчики Д-четыре тарахтят по всей стране. Я с его помощью проехал больше десяти тысяч километров — легкий, надежный движок. Многим радость подарил. А изобретался он в деревне под Харьковом. Цилиндры в русской печке выпекались, как пироги. Тоже больше двадцати лет создавал Филипп Прибылой свое

чудо. Трудно приходилось, самоучка... Я приезжал к нему в Харьков, видел его моторчик и велосипед в музее на Харьковском велосипедном заводе... Первый-то раз застал изобретателя, а второй — уже нет. Не успел. Всего на неделю позже приехал — жизнь кончилась... Теперь, когда увижу мальчишку на самодельных мопедах, бегу к ним, как к братьям родным... Да, хорошо бы успеть повидать горшечника.

— Да, хорошо бы, — согласился Игорь Николаевич. — Да все дела, дела...

* * *

Поехать в деревню Песчинку с Игорем Николаевичем нам не удалось. Семенов стал бригадиром в своем цехе, набрал еще группу молодых учеников, так что время его жизни уплотнилось до того, что на своем моторном катере некогда ему оказалось даже поблизости сходить, порыбачить.

Тогда я сам решил найти горшечника в ярославской деревне. Помог мне близкий друг, ярославец Алексей Ковалев. С ним мы когда-то учились в одном техникуме, вместе ходили в литературный кружок, в котором сразу собрались три Леши. Леша старший — это он, Леша средний — это я. Леша младший — Александров, погибший в семнадцать лет, спасая жизнь другого человека.

С Алексеем Ковалевым мы однажды проехали всю страну, все республики Советского Союза за одно лето, попали даже в знаменитую книгу «День мира».

Наш старенький Иж-56 с коляской в хороших руках друга до сих пор работает, и, когда выдается время, мы садимся на него, чтобы еще раз увидеть красоту земли, встретиться с людьми в дальней дороге.

От Ярославля деревня Песчинка километрах в тридцати. Поехали мы в хороший, ясный день.

* * *

Метнулась навстречу дорожная надпись: «Река Княгиня». Какая же это река — речушка, ручеек, поросший осокой. Наверно, только в весенний разлив она широка по-княжески. И все же кажется, что назвали эту речку Княгиней от щедрости или оттого, что уж очень красиво само слово.

А вот и деревня — на трех пригорках по берегам реки. Нам нужно на третий, самый дальний пригород.

Въехали на улицу, разогнали кур, остановились возле маленького, крашенного голубой краской домика. Окна с резными наличниками, вдоль завалинки лавка, перед лавкой две молоденькие березы.

Встречать не вышел никто. Мы подумали, что напрасно приехали, что не увидим горшечника. Но деревенский дом обманчив тишиной. Вокруг вроде безлюдье, только куры да поросыта, а глядишь — чуть ли не поддеревни приметило тебя из окон.

По скрипучим ступеням вошли мы в сени.

Алексей Ковалев, как старый знакомый, первым открыл входную дверь. И сразу же нас обдало тем избяным дыханием, настоящим на хлебе, на печном тепле, на щах, на полушибках, которое живо в любой деревне, в любой избе.

— Здорово, дед Матвей! Ты чего это на кровати? Прихворнул?

- Никак Алешка? — обрадовался дед.
- Он самый. С другом прикатил из города на тебя взглянуть.
- Да чего на меня глядеть-то, запаршивел. Перегулял малость, бок схватило.
- Как же это, дед Матвей? Ты еще, что бурлак, крепок.
- Был крепок, да вышел. А вы чегой-то у порога остановились?

Садитесь вон к телевизору. Скоро хозяйка придет.

В комнатке после улицы сумеречно, а потом привыкаешь, становятся приметными детали. У самого входа, в углу, на крепких гвоздях висит каждодневная одежда. А в красном углу, между двух окон, — вышитое по-лотенце, телевизор на тумбочке. Телевизор хороший, с большим экраном.

Дед Матвей сидит на кровати спиной к перегородке. Он в валеночках, налаживает самокрутку. Свет из двух окон падает на его небритое удивительное лицо. Кожа на лбу чистая, почти без морщин. Губы тонкие. А в глазах — еще не старческих, не замутненных — лукавство и живость мысли, и мудрость, и озорство, и неброское чувство собственного достоинства. А сам стариk не силен, не кряжист, не высок — все налегке. Хозяйка (и это стало ясно, как только она вошла) оказалась ему не под стать. Большеелая, большелица, вся упрятанная в просторные складчатые одежды, она выглядела просто громоздкой. Глаза у нее были не глубокие, но добреши, по-старушечки восторженные. Лицом и голосом показалась мне деревенской плакальщицей.

Поздоровалась хозяйка с нами суетливо, как будто застеснялась чего, и спешно вышла из комнаты, с порога бросив деду:

— Пойду я сарайку почищу.

«Уж до чего разные половинки, а всю жизнь вместе», — подумал я и сейчас же решил, что, значит, есть между ними что-то такое, чего не разглядишь с насоку.

Дед Матвей зажег свою самокрутку. И разговор, как это часто водится у мужиков, начался с табачка:

— Вот ты хоть что делай, махру курю — не кашляю. Папиросы аль сигареты какие курить придется — задохнусь сразу, грудь закладывает, а деру никакого.

— А вот я, дед Матвей, бросил курить, и намного легче.

— Это правильно. Ну ее к бесу. Зараза. Я уже с ней и помирать буду. Пятьдесят лет сосу, куда денешься. В раю передохну.

Алексей не удержался, спросил, как дед относится к богу.

— У нас с ним давно отношения порваны, — простодушно признался дед и хохотнул.

И странно мне было видеть и слышать старика безбожника, внешне чем-то похожего на апостола.

Все, о чем говорилось в избе, сводилось к тому, как раньше было жить худо, а теперь хорошо, хоть надо бы и получше; и даже к тому, как дед Матвей воевал, как делал однажды глиняную посуду чуть ли не на целый батальон, и даже к тому, какие у него дети, — все это было обсказано как бы в полнапряжения. А как только хозяин дотянул самокрутку до обмусоленного края, как только бросил чинарик к печке, как только втиснул ноги поглубже в подшитые валеночки, как только сказал тихонько, лишь скользнув взглядом в нашу сторону: «Ну да что? Показать, что ли?» — тут-то и родилось начало. И встрепенулась душа нашей встречи.

Даже самый бесталанный и циничный халтурщик оправдывается, перед тем как показать свою халтуру. Уж что говорить об истинном творце своего дела — у него всегда, оказывается, было довольно много причин, помешавших показать себя в полном блеске. И это прекрасно: в этом стыд, честолюбие и важнейшее свойство таланта — недостижимость желаемого. Хочется сделать еще и еще лучше.

Дед Матвей тоже начал представлять свое искусство с оправдания:

— Вчера на празднике перегулял малость, нынче рука дрожит. А глина чует расстройство, когда твердости в руке нет.

Мы поступили так же, как поступают в подобных случаях: уверили творца, что наше отношение к его искусству, к высоте его мастерства не изменится от сегодняшней случайной и, конечно же, не лучшей работы.

Дед Матвей снял с гвоздика прожженый в нескольких местах за скорузлый брезентовый фартук, надел его и пошел в сени за горшечным станком. Я хотел было помочь.

— Нет, нет. Я сам. Своя ноша не тяжела, — отрубил старик.

Вот диво так диво, станок так станок! Круглая колобашка вроде жернова (спил какого-то дерева) около метра диаметром. В центре круга — металлический штырь, ось. Вторая и последняя часть станка — невысокая крепкая скамейка с отверстием. Ось круга вставляется в это отверстие — и дело с концом, вся техника, присаживайся, раскручивай, выделяй из глины что вздумается, что сможешь. Такое вот чудо видел Игорь Семенов тоже... Да не только он один... все человечество видело — через века...

Внес мастер свой станок в крошечную кухоньку, поставил на пол между окном и печкой, отправился снова в сени, уже за глиной. В кухне и происходит все таинство. Кухня — цех, горшечная мастерская. В углу стоят неудавшиеся глечики — они растрескавшиеся, кривые, всякие. А над головой, поближе к черной пасти печи, неширокие доски — там, должно быть, обсыхают готовые изделия. Вдоль окна лавка, замусоленная, в рубцах и щербинах. Только в одном месте она совершенно гладкая, будто хорошо отполированная, — тут, пожалуй, и месится глина.

Так оно и оказалось. Мы сели с Алексеем на табуретку, к деду Матвею, к его горшечному станку лицом и спиной к печке.

Дед стал месить глину старательными знакомыми движениями — так все матери и все бабушки всех детей месили тесто для пирогов.

— Глина у нас хорошая, — пояснил дед Матвей и улыбнулся, — телом крепкая, будто резиновая. Уж так я привык к ней. Не поработаешь день-другой — пальцы ноют.

— А есть ли в деревне мастера получше вас? — спросил Алексей с явным желанием польстить.

Дед не засмущался и не стал отнекиваться. Он призадумался:

— Сейчас, пожалуй, в нашей деревне нет. А раньше были. Вот разве что Сидоркин делает как надо. Да и то... Тяжеловат его горшок, пока до рынка донесешь — намаешься.

Это деталь немаловажная. Видимо, практичность стала одной из составных частей мастерства — умения сделать тонкую стенку горшка при красоте формы, при том звонком, колокольном гуде, если щелкнешь по горшку.

Истари в деревне Песчинке занимались горшками, увозили за много верст в Ярославль продавать свой товар. Было время — возили на те-



легах, а потом стали возить на попутных машинах. Но как бы ты ни возил горшки, их надо нести от деревни до главного тракта, а потом от какой-нибудь улицы до базара. Толстостенных горшков много не унесешь. А мало нести нет никакого смысла — день пропадет: маеты вдоволь, а выручка небольшая.

Женщины пилили своих мужиков-горшелей, чтобы облегчили они ношу. Кое-кто, видимо, мог, да не хотел, кое-кто хотел, да не мог, а вот наш хозяин и мог, и хотел. Стали его горшки самые тонкие,

самые легкие, самые певучие, и красоты в них от тонкости прибавилось. Покупали его горшки нарасхват. Дед Матвей замесил кусок глины килограммов на пять, на шесть, уселся перед горшечным кругом на приступку — низко-низко сел, почти что на пол. Попрыскал на шероховатый круг, крутнул его разок-другой, остановил. Круг вращался неровно, с боем, подпрыгивал вверх и резко опускался вниз.

— Дед Матвей, разве может такой круг сделать что-нибудь ровное? — удивился я.

— Если нет рук, не поможет и круг, — отрезал дед, вминая в середину круга кусок зеленоватой глины.

Сухие, костиистые дедовы пальцы нежно и в то же время властно обращались с податливым материалом, они для начала старались сделать что-то вроде примитивной пепельницы или плошки. А потом горшечник взял в правую руку тряпочку, обветшалую, мягкую, обмакнул ее в воду. Левая рука резко крутнула жернова и сейчас же стала вытеснять, выдавливать изнутри, от центра, нехитрую пепельницу, а правая рука вместе с мокрой тряпочкой заскользила по наружной стенке глиняной заготовки. Гладкие, поблескивающие стенки рождающегося сосуда начали быстро вздыматься, расти.

Радостно было видеть, как текла, слушалась, обретала смысл и форму желто-зеленая масса, как повторяла она не одни лишь движения пальцев, а полет фантазии, как раскручивал дед Матвей то резко, то плавно свою колобашку, притормаживая ее время от времени коленом. И вот он вырос, горшок-глечик, — внизу поуже, вверху пошире, с гладким ободком, с неглубокой вмятиной вместо носика для струи молока.

Дед Матвей струной срезал горшок под корень, бережно снял с круга, поставил на лавку, залюбовался, будто не сам все это сделал, будто он — это одно, а руки его, умение его — что-то совсем другое, само по себе; и диву он дается, как это они сумели такое сработать, уже в который раз, который год. Жизнь прошла, а они зной себе делают дело, одно и то же, одно и то же, радости от него становится все больше, одной и той же радости, какая приходила еще в юные годы, — радости удивляться простому своему делу, как чуду.

— Ну что делать-то будем, Алексей? Заказывай, — встрепенулся дед Матвей.

Алексей не стал долго кумекать да изобретать. Заказал он мастеру самую модерновую вазу для цветов. Дед послушал его объяснения, посоображал, кивнул головой:

— А что ж, попробуем, ты только подсказывай.

Алексей достал карандаш, вырвал из блокнота листок, нарисовал современную вазу — обычновенный шар со срезом вверху и внизу. Дед посмотрел внимательно на рисунок, примерился, отщипнул от общего куска шмат глины, обхлопал его, вдавил в середину круга и опять принялся раскручивать свою колобашку, оглаживать глину мягонькой влажной тряпочкой. Нет, не тряпочкой, что я, — то, чем обглаживают глину, не тряпочка, а полизеня.

Но на этот раз никак не хотела дедова глина становиться шаром, ей было куда как желаннее и привычнее изгибаться формой горшка, глечика, пригодной делу посудой, а не фифой для цветов. Но дед не хотел сдаваться, руки его подступались к глине и так и этак. Сражение затягивалось.

— А ваши дети умеют с глиной обращаться? — спросил Алексей явно для того, чтобы вернуть недавнее благодушие.

— Нет, не хотят. Это для них дело отжившее, — грустно улыбнулся дед. — Сын как-то попробовал помять, перемазался весь, осерчал да и плонул. Не легла душа. Тут ведь ей сколько терпения требуется. Я вон годов пять только крышку к горшку учился делать.

«Пять лет только крышку делать? — ужаснулся я. — Пять лет делать только крышку — нет, не по мне. День за днем часами дергать гончарный круг? Раскручивать и выдавливать, раскручивать и выдавливать посудины? Алексей, как он? Руки у него жилистые, с огромными, будто расплющенными ладонями — руки пахаря, лесоруба, молотобойца, прямо крестьянские руки, а держит он их вон как нервно, между колен, пальцы в пальцы, даже вены вздулись. Наверное, и не рад, что заказал такую... вазу».

Ваза действительно не получалась. Мы с Алексеем изо всех сил принялись оправдывать старика, старались, как могли, со всеми «извините», «пожалуйста». Дед слушал нас, не перебивал, на губах держалась легкая улыбка. Нам казалось, что это была улыбка смущения и благодарности, а вышло по-другому. Он и не был смущен, и не стал принимать наши оправдания — он сказал доверительно и просто:

— Не с руки мне это дело. Ничего, пообкатою потом, горшочек-то ладный.

Какое же мы дурачье! Молодняк, честолюбцы несчастные! Мы ведь не из-за него застеснялись, а из-за себя, из-за того, что нам хотелось увидеть такого мага, такого волшебника, чтобы от самого даже бледного рассказа о нем своим друзьям и знакомым тех проняла бы зависть к нашей встрече. А он, вот этот маг и волшебник, не оправдал наших надежд, и ничуточки ему не стыдно от этого. Он покуривает себе, поглядывает тепло и не простеци, и видно, что не для одного лишь поддержания разговора спрашивает у Алексея, не болел ли он сам, пошла ли мать на поправку, хорошо ли работается... Старик многое знал, оказывается, о моем друге.

А потом мы ели. Ели за дощатым столом. Посреди стола стояла глиняная солонка. В глиняные кружки было налито топленое молоко из глиняного глечика. В глиняной плошке лежали крупные шматы черствого ржаного хлеба. В глиняном блюде зеленели увесистые кругляши только что сорванных с грядки и наспех нарезанных огурцов.

Ели мы хлеб, пили молоко, похрустывали свежими огурцами. Давно не елось мне с таким удовольствием.

А потом — на прощание и в благодарность — стали мы фотографировать хозяев. Деревенские, насколько я заметил, очень любят фотографироваться. Услада ли это для них, чудо ли, редкость ли — трудно сказать. Увидеть себя со стороны — даже в плохом зеркале — всем хочется, а вот деревенскому человеку особенно. Как бы ни вышел он на фотокарточке, ему все кажется, что на бумажке он лучше, чем в жизни.

Сели наши старики под окном на завалинку. Старик в рубашке на выпуск да в черных подшитых валенках, жена его в передничке из ситца, в платочке, в старенькой вязаной кофте. Сели рядышком. Старик развел ноги, хозяйка подобралась, окрепла, остановила взгляд на каком-то неведомом мне и, должно быть, ей самой предмете. И сразу же будто задумалась над чем или удивилась чему. Старик тоже сел

так, чтобы не только соседям, а детям и внукам себя показать и даже правнукам, — но все же не смог он, как ни старался, остановить до деревянности свой пронзительный взгляд, свое полное живости и оттенков лицо. Хорошо было смотреть на эту пару: перед нами сидели и пушкинские старик со старухой, и еще те старики, у которых могла бы жить курочка-ряба со своим золотым яичком.

Две судьбы, две жизни, два соединенных человеческих мира. И так тепло стало на сердце, как будто я встретился со своими дедом и бабкой, с той кровной и душевной родней, какая объединяет в мире всех людей и делает каждого человека не одиноким, накрепко, спасительно соединенным со всем родом людским.

В НОВОМ УЧИЛИЩЕ

Нет, не закончилась еще моя история про станок и стихотворение. Про станок и человека — мастера своего дела, умельца, творца.

Человек и его инструмент, помощник в труде, — это ведь целая история. У землепашца — от простой коряги до стального плуга, у охотника — от камня и лука до огнестрельного ружья... На пути выживания, совершенствования, в поисках комфорта, наконец, человек усложнял, украшал, опоэтизовывал орудия своего труда, возвеличивал до высокого таинства секреты своего дела.

Тайны дела — они как величайшая драгоценность передавались из рук в руки, из поколения в поколение — от отца к сыну, от мастера к подмастерью с незапамятных времен. Какой-то первобытный гений сработал первый каменный топор и показал, как это делается, своему собрату по пещере, кто-то из неведомых талантов подарил человечеству секрет добывания огня, плавки металла, вращение колеса. Слава и хвала щедрым умельцам, передавшим секреты своих открытий, труда своего всем людям; слава и хвала всем тем, кто смог воспринять драгоценные знания о природе и человеческих возможностях, сумел и приумножить мастерство рук человеческих.

«Главным руководителем, который должен нас направлять при выборе профессии, — писал юный Карл Маркс, — является благо человечества, наше собственное совершенствование. Не следует думать, что оба эти интереса могут стать враждебными, вступить в борьбу друг с другом, что один из них должен уничтожить другой; человеческая природа устроена так, что человек может достичь своего усовершенствования, только работая для усовершенствования своих современников, во имя их блага. Если человек трудится только для себя, он может, пожалуй, стать знаменитым ученым, великим мудрецом, превосходным поэтом, но никогда не сможет стать истинно совершенным и великим человеком...»

Для начала, для взлета ныне дано в нашей стране получить каждому члену общества среднее образование, оно даже стало обязательным. Без него теперь почти невозможно стать большим мастером, специалистом почти ни в одной области производства.

В Ленинграде, на улице Черняховского, во Всесоюзном институте профтехобразования исследуются многие процессы обучения и воспитания молодых рабочих, ищущих пути нового...

Пять лет делать крышку горшка, вспомнилось мне — не для наших дней. А ведь так было... Александр Георгиевич Соколов, заведующий одним из отделов института, сам воспитанник системы профтехобразования, живой, энергичный человек, в чьей голове, одной из первых, родилась идея всеобщего среднего образования в ПТУ, любезно представил мне возможность познакомиться с документами, рассказывающими об истории развития профессиональных учебных заведений.

В 1604 году царский сановник Куракин учредил в своих украинских имениях первую российскую профессиональную школу, на два года опередив в этом отношении индустриально передовую по тому времени Англию.

Позже крупные заводы промышленника Демидова начали готовить на Урале рабочую смену. Потом по соизволению Петра I подобные училища по «рукомыслу» стали появляться и в других крупнейших городах, промышленных центрах огромного государства.

И все же профессиональных школ было крайне мало. Прежняя Россия не могла создать необходимых условий для воспитания и обучения подростков промышленным специальностям. Учреждались специальные классы и дополнительные курсы при гимназиях и уездных училищах, но все это было бессистемно, обучение велось наспех.

Связь технического образования с общим начала осуществлялась только после революции, при Советской власти. Даже в годы голода, разрухи после гражданской войны, когда остро требовалось восстанавливать народное хозяйство, дать каждому хотя бы самый необходимый кусок хлеба, решено было создавать новую смену рабочего класса: школьников обучать различным рабочим специальностям, а юным рабочим прививать хотя бы элементарные общие знания.

Одна из первых организаторов школ-клубов Р. Г. Лемберг писала: «Помню огромный сырой и полутемный барак, так называемый театр при большом заводе. А внизу, в местах для публики, гудит и улюлюкает возбужденная толпа мальчишек в пятьсот голосов. Их согнали слушать приехавшего проповедника школьного дела. На эстраде в полумраке, среди зеленых декораций снуют в волнении приезжие «агитаторы» и «местные культурники». Надо начинать, но кто возьмется перекричать это бушующее море...» Нередко раздавались голоса: «Мы сами ученые, не надо школы — давай хлеба. Стары учиться — надо жениться».

В 1920 году установились два типа школ ФЗУ: четырехгодичные, готовящие квалифицированных рабочих по сложным специальностям, и трехгодичные — для подготовки рабочих массовых профессий. Действовал и бригадный, ускоренный способ обучения — в несколько месяцев.

При Ленинградском губернском отделе народного образования был создан отдел профессионально-технического образования. В его ведение поступило 39 учебных заведений в самом плачевном состоянии.

Постепенно профессиональная ориентация все больше стала сливатся с общим образованием. В школах ввели уклоны: готовили разного рода работников коммунального хозяйства, давали первые навыки рабочих разных специальностей. Многие школы имели свои производственные мастерские, и особые комиссии присуждали квалификацию ученикам.

С 1940 года были созданы Государственные трудовые резервы СССР. Это событие стало днем рождения системы профессионально-технического образования нового типа.

В результате поисков специалистов теории и практики стало все более очевидным, что детям необходимо узнать как можно раньше, что же это такое — общественно полезный труд. Именно он, труд, создавший человека, лежащий в основе нравственности и всех человеческих взаимоотношений. Ведь бездельник, живущий за чей-то счет, привыкший с детства ничего не делать, неизбежно живет и за счет усилий, испытаний, чести и совести другого человека — труженика.

Человек от рождения гармоничен: руки, ноги, глаза, мозг — все в нем целесообразно, прекрасно. Каждый ребенок, можно сказать, гениален. За очень короткое время он способен выучиться ходить, говорить, понимать тонкости человеческой психики. Сама природа дала ему поразительную восприимчивость. И все это очень важно вовремя направить в разумное, перспективное русло.

На новой основе созданы специальные программы для школьников и воспитанников ПТУ, которые, учитывая возрастные и прочие возможности юных граждан страны, будут прививать им первые навыки общественно полезных дел. От элементарных основ знания через игры, увлечения к мастерству — таков путь политехнического образования предполагает принятая к действию реформа.

Мое ремесленное училище тоже в свое время явилось новшеством, поиском лучшего в подготовке рабочей смены. Обучали нас основательно, за три года, помимо практики, была довольно-таки обширная общеобразовательная программа. Многие из воспитанников стали замечательными рабочими, немало и тех, кто потом закончили вузы, оказались руководителями производства или остались в системе профтехобразования заинтересованными наставниками.

Так вот случилось и с моим однокашником по ремесленному училищу, другом и «соперником» Анатолием Аксентьевичем Сиволапом. Часто я бывал в нашем ПТУ-10, училище высокой культуры, где директором Герой Социалистического Труда Николай Прокофьевич Зазнобин. Приходил я в дни выпуска учащихся, посвящения в рабочие, бывал и в дни приема школьников, и на первых Ленинских уроках. 1 сентября теперь объявлено Днем знаний. Встречались мы с Анатолием Аксентьевичем, да все наспех. Лишь в недавнюю весну удалось встретиться поосновательнее.

От метро «Площадь Мужества» до Гжатской шел пешком через дворы, дворики, по натоптанной дорожке. Шагали навстречу, обгоняли меня по-летнему одетые люди. Выдалась необычно ранняя весна. Отцвели яблони, распустились акация, сирень, жарким было солнце.

Когда закончился квартал новых жилых домов, я вышел на тротуар широкой улицы. Впереди, за молодыми еще березами с первой зеленью, стояло с виду легкое, четырехэтажное здание училища. Никто не выбегал на улицу, двери не хлопали, как бывало... Я шел с таким чувством — и это не в первый раз, — будто меня ждало свидание с юностью. Будто вот-вот встречу самого себя или «двойника» — того неведомого еще юношу, которому и лет всего шестнадцать, как было мне, и учится он на слесаря-сборщика, и в футбол играет, и стихи пишет, и на веселый каток бегает с другом Володькой...

Пусть жизнь, повторяясь в чем-то, продолжается как можно лучше.

Я не раз искал своего «двойника». В детдоме, когда думал, что где-то есть у меня родной старший брат, который может все понять, защитить. В юношеские годы, когда не хотел поверить, что на свете я один такой, единственный в своем роде, и что каждый человек — неповторим. Особенно важно мне было найти совершенное родство в девушке, которую мечтал полюбить.

Много встретил я мужчин и женщин — родственных, близких душ, но что-то особенное я испытывал в предчувствии встречи со своим «двойником» по слесарной профессии, в ком видел начало и моей судьбы, друга по верстаку и мечтам.

Склонный к самоанализу, я стараюсь жестко высказать самому себе всю, пусть самую нелицеприятную, правду, потом, помучившись, как-то очиститься, внутренне окрепнуть, чтобы идти дальше. И я не раз вспоминал себя в шинели и фуражке ремесленника, у которого на совести еще мало грехов, а впереди много надежд и возможностей. Я верил, что моя жизнь сложится хорошо. Верил и продолжаю верить в себя, который был там, в прошлом, прям и доверчив.

В училище шли занятия, было тихо. Пожилая гардеробщица что-то вязала, сидя на стуле возле дверей. Солнце мягко освещало просторное фойе, цветы возле окон.

Поднялся на второй этаж с тем теплым чувством, с которым входят в свой дом. Повсюду чисто, аккуратно. На стенах фотографии лучших учеников, преподавателей — хорошие, умные лица.

В кабинет заместителя директора училища по учебно-производственной части я, наверно, никогда не смогу войти без некоторой робости, хоть на этот раз входил к другу юности.

С Анатолием Аксентьевичем, или попросту для меня Анатолием, мы обнялись при встрече и завели разговор, как бы сближаясь издалека — от вихрастого мальчишества к седой уже зрелости, от признания к признанию, проясняя, выстраивая, сопоставляя наши жизненные пути — через радости и беды, через приобретения и потери, поворот за поворотом... Мы вспоминали имена, эпизоды, события из личной жизни, которая так неразрывна оказалась с системой профтехобразования и, естественно, с жизнью нашего поколения «детей войны».

Какое-то время беседа велась серьезно о серьезных вещах, но вот мы вспомнили, как он попытался отнять у меня ремень, рассмеялись от души. В смехе Анатолий Аксентьевич, как и прежде, мальчишка, «папан», как мы говорили. Хочет, весь сотрясаясь теперь уже грузным телом, плотным еще, килограммов на девяносто. Он всегда был силен — этакий тяжелоатлет. Широкое лицо от смеха стало пунцовым, глаза прослезились, вытер их широкой ладонью, провел по седому чубу. Нет, не сгинули, выдержали все удары жизни доброта, радущие, открытость. В смехе у него, как шутили мы, «рот до ушей, хоть завязочки пришей». С таким человеком, уверен, легко работать, дружить и ученикам, и преподавателям.

И когда в минуту смеха пришли учащиеся, ершистые паренЬки, протянули заявления, написанные на таких знакомых, разлинованных мелкими квадратиками тетрадных листочках, заместитель директора по учебно-производственной части не смог согнать улыбки с лица, только спросил построжавшим голосом: «Да сколько вас тут сегодня отпрашивается с уроков? И все к больным бабушкам?» Знакомый аргумент.

Нет, в этот раз ученики вынуждены были уйти с очередного урока по какому-то срочному училищному делу. Это дело поручили лучшим из группы радиомонтажников.

Пришли к Анатолию Аксентьевичу две учительницы по основным дисциплинам. Молодые женщины — Мария Иосифовна Лукашевич, преподаватель математики, и Нина Борисовна Васильева — ее дисциплина — спектрология для радиомонтажников. Люди опытные, с большим педагогическим стажем, с высшим образованием, горячие, заинтересованные в своем деле. Так вышло, что обе пришли пожаловаться на одного из своих общих учеников.

— Пока не сдаст тетрадь Болтушкин, оценки не поставлю, — взъяренно заявила Мария Иосифовна.

— А передо мной пусть извинится за хамство, — резко сказала Нина Борисовна. — Я давно терплю его разговоры на уроках, но вот черные очки... Что это он от меня и от всех отгораживается. Только начну урок с подъемом, хорошо — вдруг срыв: надо делать замечание и слышать в ответ...

Анатолий Аксентьевич усадил преподавательниц, почертил что-то карандашом, какие-то загогулины на белой бумаге, ответил довольно сердито:

— Ко мне он не приходит в черных очках.

— Еще бы к вам...

— Вы Болтушина не трогайте. К нему надо быть поснисходительнее. Он без ноги...

— Ну при чем тут это? — начала было Мария Иосифовна. — Учится он на общих основаниях, он такой...

— Какой такой? — оборвал Анатолий Аксентьевич. — Я его знаю по своему предмету. Его по имени-то редко кто называет. Обидно, замкнулся. Недавно поставил ему заслуженную хорошую оценку, так у него знаете как глаза засветились... Не надо с ним круто. Темные очки — это самозащита, знаю по себе... Вы мягче, тактичнее подойдите, а то меры приму... — в шутку и всерьез сказал Анатолий Аксентьевич, поднимаясь из-за стола. Но, судя по всему, доверительно расположенных к нему женщинам ничем таким особенным устрашить он не мог: они запросто, горячо, по-свойски выговаривали ему свое наболевшее...

— Мы перед всеми раскрыты, на виду, а он скрывается за очками, это — хамство... Главное — подготовить к жизни людей... Научить тому или иному делу можно кого угодно... Можно даже недоучить, но недовоспитать — нельзя...

Анатолий Аксентьевич кивал головой, со многим был согласен, но стоял на своем:

— К Болтушкину нужен особый подход, и тогда он станет лучше, раскроется... Тепла, сердечности ему недостает ни дома, ни в училище...

Я слушал и думал: какая сложная система взаимоотношений — коллектив и один человек, молодой человек, с его особой ранимостью, обостренным чувством собственного достоинства, с необходимостью быть как все и с желанием выделиться, быть ни на кого не похожим... Вспомнился мне Дульщик, его боль, одиночество, когда мы его отторгли от коллектива, отчасти из-за неведения, отчасти из-за детской своей жестокости... И как важно было встретить на моем пути добрых, щедрых на терпение, сердечно понимающих суть педагогики и каждого человека наставников. Нет, я не осуждал учительниц: они сделали,

что могли, терпение, как говорится, лопнуло. Но как хорошо, что есть человек, который еще не потерял доверия к незнакомому мне Болтушкину. Знал бы он, сколько душевных сил ему отдается и еще будет отдано ради его блага, ради всей дальнейшей жизни, поверил бы он, доверился — многое бы изменилось к лучшему.

Когда мы с Анатолием Аксентьевичем снова остались одни, он сказал:

— Коллектив у нас хороший. Равнодушных, можно сказать, нет. Таких вот горячих педагогических моментов бывает немало. В общем, горячий цех.

— Что же, это было есть и будет, — согласился я. — Дело молодое.

— Так-то оно так, да все труднее стало учить и воспитывать. Забот прибавилось, а тепла, отдачи поменьше, чем в наши времена. Молодежь стала сложнее, норовистее, эгоистичнее... «Мое, мне, имею право» часто звучит. Выгадывальщики преумножились. Представляешь, почти сто рублей платим стипендию токарям — и недобор. Говорят: мол, трудно, грязно. Трудно, согласен. Но насчет грязи... На базовом нашем предприятии вон в белых халатах токари работают. А в будущем... Ты только взгляни, какой к нам станочек пришел, с программным управлением. Тончайший, умнейший. Хочешь взглянуть на ЧПУ?

— Еще бы. Я ведь когда-то писал...

— Помню, как же. «Ведь каждый к работе, как к хлебу, привык», — улыбнулся Анатолий. — Это правильно ты заметил. Работали мы азартно даже на плохих станках. Токарный станок меня, можно сказать, в люди вывел. И мастер у меня был хороший, творил чудеса. Мне в жизни повезло на хороших людей.

— Мне тоже, — согласился я. — Ну что, пойдем посмотрим на твоё чудо века. Токарь-расточник, задира из шестьдесят третьей академии. Помнишь, как ремень у меня пытался отнять?

— Как же. Мы еще с тобой из-за девушки чуть не подрались...

В помещении со знакомым запахом машинного масла и еще свежей краски остановились мы перед красавцем станком. Он стоял в привилегированном отдалении от всех прочих — могучих, таких уже приглядевшихся токарных трудяг в зеленовато-серой, местами пообтершшейся краске.

Станочек с программным управлением сверкал, сиял голубизной своего высокого остова. Над полированным блеском станины, элегантно изогнувшись, свисали компактными пучками крепкие шланги гидравлической системы. В небольшом отдалении на специальных подставках по коилась группа сложных приборов — счетчиков, датчиков, манометров и прочих хитроумных штуковин, которые должны следить, думать о рабочем процессе, повинуясь воле человека. Станок почти все мог делать сам — только прикажи, настрой, включи... Казалось бы, все просто. Кто-то, целая армия специалистов уже подумала за токаря, и ему ничего не остается, как нажимать кнопки, быть у станка-робота в услужении. Но нет. Здесь такие начинаются тонкости взаимоотношений, в которых и есть высокая тайна — творчество, мастерство, соединение теории и практики, новые уровни интеллекта. Человек и станок должны общаться почти что как равный с равным. Чуть-чуть недоглядел токарь-оператор — и пошло все вкривь и вкось, а как исправить, неведомо, если нет должного уровня знаний. «Нет рук — не поможет и круг», — вспомнилось мне. «Да, с моими знаниями слесаря-ремонтника тут не справиться, нужно знать еще электронику...»

Многое в станке было непонятным. Молчание его было загадочным. И в этой немоте были непостижимые вопросы, они обращались к моим знаниям математики, логики, даже психологии... к уверенности в себе. А смогу ли?.. Способен ли я, со всем моим опытом жизни, быть достойным повелителем этой великолепной, чуткой машины? Те же валики, шестеренки, да не те. Не тот порядок. И снова нужно садиться за парту, чтобы вписаться в эту сложность, рожденную новым временем, новым взаимоотношением рабочего и его инструмента...

И, словно бы догадавшись, о чем я думаю, Анатолий Аксентьевич сказал:

— Вот видишь, какое чудо. Разве могли мы себе даже представить такое? Те, кто думают о токарном деле по старинке, ошибаются на целую эпоху.

Однако мне стало обидно за мою профессию. У слесаря как был в руках напильник, так и остается, и я сказал не без иронии:

— А все-таки даже такая машина ломается. И ты, токарь, побежишь ко мне, к ремонтнику.

— Каков должен быть класс у тебя в наши дни, ремонтник? Это же не станок — космический корабль.

— Согласен. Но ведь не боги горшки обжигают. Ты покажи мне того юного слесаря, который вскоре справится с твоим космическим кораблем.

— Вскоре? Не знаю... Для такого дела все должны подтянуться — и школа, и ПТУ. Вот и создаем новые программы, новые взаимоотношения учителя и ученика. Вся надежда на того парня, который не будет лениться, волынить, отсиживаться ни за школьной партой, ни здесь, у нас... Вся надежда на рабочего-интеллигента, личность, творца... Что и говорить, есть неплохие ученики, их немало...

Уходил я по шумным коридорам, бойко звенели голоса парней. Важничали девушки, стоя возле окон или медленно прогуливаясь небольшими стайками.

На улице, на ступеньках училища, на солнцепеке стояли, жмурились два совсем еще юных паренька. Один — худенький, легкий, быстроглазый. Загорелое лицо его было по-взрослому строгим. А рядом стоял розовощекий, благодушный толстячок. В их обликах было что-то очень похожее на прежнего меня и моего друга Володьку.

— Ну, как дела, мастерá?

— Все хорошо, — с готовностью ответил толстячок.

— Мы еще пока не мастера, учимся, — сказал его более скромный друг.

— Счастливо, друзья. Желаю успеха...

Ярко светило солнце, покачивались деревья на легком ветру, весенний воздух был чистым, вкусным. С обновленным сердцем я зашагал от прошлого... к будущему.

Если бы сейчас подбежал ко мне старый дружок Володька, шлепнул бы слегка по спине и спросил: «Ну, Лёша, куда двинемся?», я ответил бы тоже в духе тех времен: «Пойдем, пошляемся просто так». И мы пошли бы вместе куда глаза глядят. А глаза наши глядели в ту пору зорко, охотно, на все сразу.

Мы шли от училища, от Большой Посадской улицы, к Неве, потом через Кировский мост, Марсово поле к Михайловскому саду, тихому,

уютному. Обходили мы неспешно любимые дорожки, любовались, наполнялись красотой, поглядывали на не унывающих ни при какой погоде любителей шахмат, сражающихся на той или иной скамье.

В Михайловском наша прогулка обычно заканчивалась. За все три года мне так и не удалось уговорить друга пойти со мной в Дом культуры учащихся профтехобразования, на занятия литературно-творческого кружка. Что-то смущало Володьку, он отшучивался: «От чтения книг, стихов у меня черепушка болит». Я убеждал, доказывал: «Давай посчитаем: сколько у тебя в жизни источников радости? Ну, поесть, поспать, с девчонками потрепаться, порыбачить, а вот если бы ты еще привык читать, слушать музыку, спорить, думать о жизни с друзьями, тебе стало бы еще интереснее». Володька отвечал: «Ладно тебе, Лёша, мне и так хорошо». И уходил на трамвайную остановку, уезжал домой.

А я оставался. Шел к набережной канала Грибоедова, потом сворачивал на улицу Софии Перовской.

Приближаясь к Дому культуры, я собирался с мыслями, настраивался на особый лад. Так было два раза в неделю — много лет подряд. Жизнь, подаренная мне литературно-творческим кружком, — ни с чем не сравнимая моя ценность, спасительная радость, редкое постоянство. Куда бы я ни шел, откуда бы ни ехал до сих пор, мне всегда хочется свернуть на улицу Софии Перовской. И на этот раз я не мог поступить иначе.

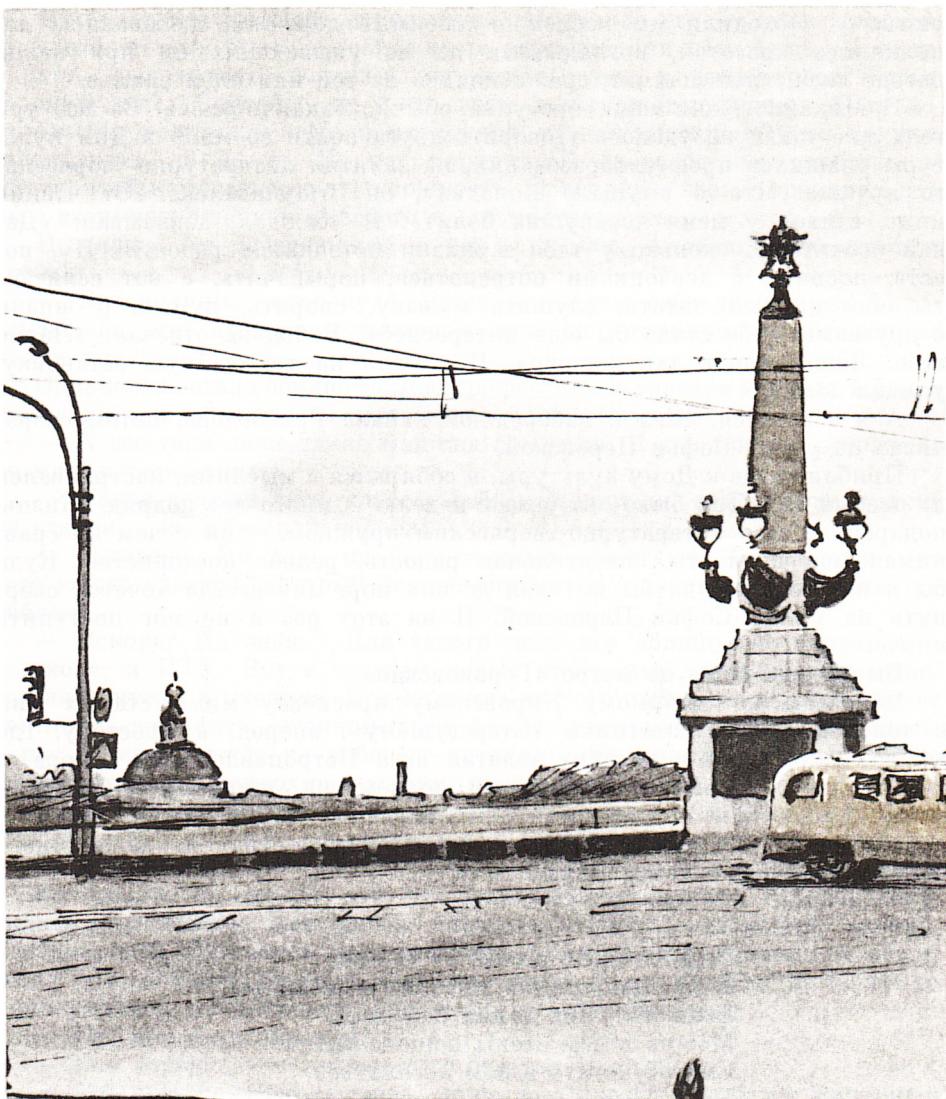
Быстро добрался до метро «Горьковская».

Пошел я по любимому Кировскому проспекту мимо старых лип и тополей, мимо памятника «Стерегущему», вперед, к простору, где вот-вот взметнется в вышину золотая игла Петропавловского собора, а еще дальше начнется медленный подъем на широкий Кировский мост. Люблю эти места, здесь вспоминаются старые стихи, пишутся новые и сам я живу как бы в двух или в трех и даже много больше временных измерениях...

Строили дети домик из глины,
Будет дворцом он высоким и длинным.
Если получше домик наладить,
Можно в нем стены пошоколадить.
Смогут котята в нем поселиться,
Будет в нем жить и царь, и царица.

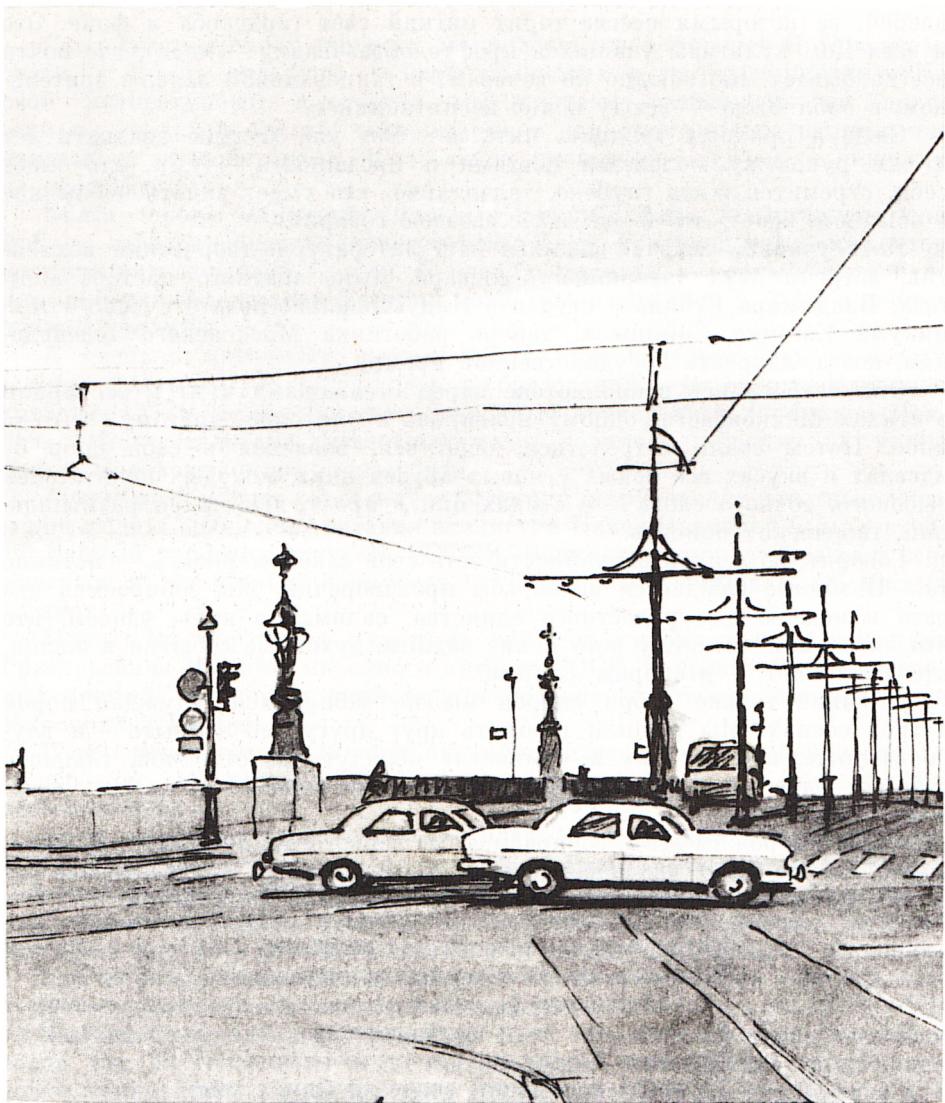
Делали мальчики луки из ивы,
Были те луки крепки, красивы.
Лес заполнялся Миклухо-Маклайами,
Лес улюлюкал, насвистывал, лаял.
Озеро вдруг заполнялось Колумбами,
Прятались львы за цветочными клумбами.
Небо спускалось до самой земли,
Звездные камни валялись в пыли.

Парни, скажите: какие обманы
Стали теперь вам, как в детстве, нужны?



Где, по каким вы путям окружным
Стройте здания, стройте планы?
Мне ж до сих пор, если честно признаться,
Хоть уж давно забежало за двадцать,
Изредка кажется: я наяву
Мальчик, натягивающий тетиву.

Кировский мост! Ты соединяешь не просто левый берег с правым —
ты соединитель всех времен моей жизни. Спасибо тебе. Как хорошо,
что выглянуло из-за тучки солнце. Хорошо идти по улице. Просто
шагать и шагать мимо домов, деревьев, навстречу случайным прохожим...



Ныне, как и прежде, я счастлив, что есть у меня постоянные пути-дороги — к друзьям, на улицу Софии Перовской.

Она тихая, тополиная, в самом центре Ленинграда — мне кажется, в самом его сердце. Строгие и торжественные петербургские дома тесно прижались друг к другу. Она коротенькая, но не тупиковая. По одну сторону — узкий проезд, а по другую спешит, бурлит Невский проспект. Столовая, больница, фотоателье, школа, Дворец спорта, почта — все есть на этой небольшой улице.

Но самый замечательный, родной дом для меня под номером три. Он серого цвета, с черными железными воротами во двор, под застекленной крышей, а в глубине с широким рядом тоже застекленных

дверей, за которыми всегда горит мягкий свет гардероба и фойе. Это и есть Дом культуры учащихся профтехобразования — место, где почти всегда бывает многолюдно по вечерам: в танцевальном зале, в зрительном, в библиотеке — всюду полно воспитанников.

Сюда я прихожу тридцать пять лет. Вот уже больше двадцати лет я сам руковожу молодыми поэтами и прозаиками — теми, кто ищет себя, стремится жить глубоко, талантливо, кто умеет видеть необычное в обычном, знает, что и «звезда с звездою говорит».

Из случайной встречи родился наш литературно-творческий коллектив, встречи двух товарищей — слесаря, ныне знатного мастера Ленгаза, Владимира Губина и студента Индустриально-педагогического техникума Евгения Синицына, теперь работника Московского телевидения, поэта, лауреата Государственной премии.

Они встретились в библиотеке перед стеллажами книг и заспорили о стихах Маяковского: одному нравилось в них одно, другому — что-то иное. Потом стали встречаться, общаться, вовлекая в свой спор об идеалах и вкусах все новых и новых друзей книг, молодых почитателей высокого, точного слова — в стихах или в прозе, любителей размышлений, творческих поисков.

Говорят, во всякой случайности есть своя закономерность, — истинно так. И многое рождается из борьбы противоречий. Мы собираемся два раза в неделю для радостного единства, садимся в круг, узнаем, кто что читал или читает, у кого какие важные духовные события в жизни, кто что пишет, — и спорим, спорим...

В какие только дебри споров мы не забираемся, блуждая порой в трех соснах. Мы решили говорить друг другу все открыто — и глупости тоже, ибо без них и «умности» обойдут нас стороной. Большое счастье — доверительное общение с «духовной родней» по самому главному счету.

Мы все дорожим этим, собираемся без всякого принуждения. И ждем, ждем: кто же будет «на новеньком»... Символическое стихотворение однажды написал наш друг, рабочий и поэт Евгений Феоктистов:

Когда мелькают весла над волнами,
То лодка схожа с птицей временами,
О сходстве том не ведая сама.
Ее тревожит волн прикосновенье,
Она то в бездну рухнет на мгновенье,
То вверх вспорхнет, сводя гребцов с ума.

Зачем же мы торопимся упрямо
Плыть сквозь волненье в будущее прямо,
Не подождав успокоенья вод.
Как будто гонят в путь нас чьи-то руки,
Как будто нам не вынести разлуки
С тем будущим, которое нас ждет.

Мы — прекрасное слово. Гордое, емкое. Самое, может быть, емкое на свете. В нем единство личностей. «Мы», — говорит человечество, думая о своем прошлом и будущем. «Мы», — говорит народ, рассказывая свою историю. «Мы», — говорят члены одной семьи, одного коллектива или кружка. В этом слове МЫ есть доверие, гордость, сила.

Сколько различных кружков и коллективов в стране! В городах и селах, в Домах культуры, в клубах, школах и на предприятиях. Но свой литературный коллектив мы считаем особенным, не похожим ни на какой другой: ведь именно в нем произошло с нашими талантами и способностями чудо, какое происходит весной с почками на деревьях.

Более сорока миллионов молодых рабочих было подготовлено для фабрик, заводов в системе профтехобразования. Генеральный конструктор космических кораблей Сергей Павлович Королев и первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин тоже воспитывались в ФЗО и ремесленном училище.

А сколько мятежных, возвышенных душ подготовилось к полету в Доме культуры учащихся профтехобразования — не счесть. Народная артистка СССР Ирина Богачева, народный артист РСФСР Михаил Павлов... Много талантов, известных имен родилось, окрепло на улице Софьи Перовской в доме номер три.

Ансамблем «Голос юности» руководили и руководят опытные, знающие люди. Свою школу оставил баянистам Павел Иванович Смирнов, заслуженный работник искусств РСФСР. Баянисты стали лауреатами всесоюзных и всемирных конкурсов, с гастролями побывали во многих странах.

Много лет хор Дома культуры пел под управлением Александра Григорьевича Мурина, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, главного хормейстера театра оперы и балета имени Сергея Мироновича Кирова.

В репертуаре танцевального ансамбля, известного в нашей стране и за рубежом, есть постановки знаменитых балетмейстеров — Обранта, Мoiseева, Якобсона.

Дому культуры уже сорок лет. Одним из первых его создателей, начинавшим все с полуразрушенных стен, был директор — заслуженный работник культуры РСФСР Феликс Стефанович Григолович. Сам участник первого пионерского слета, он всю жизнь с молодежью. Был директором крупного учебного комбината, директором Дворца пионеров; в годы войны командовал ленинградским Осоавиахимом, помогал эвакуировать изголодавшихся детей-блокадников.

Феликс Стефанович постоянен во всем: и в том, что слава ансамбляросла год от года, и в том, что коллектив наставников сохранился почти неизменным на протяжении многих лет. Не раз ему предлагали переехать в какой-нибудь другой район, в более просторное помещение — он отказывался, перестраивал свой Дом заново и заново, отвоевывал на улице Софьи Перовской и канале Грибоедова еще хоть пару сотен квадратных метров и оставался верен месту, традициям, добрым памяти о прошлом. «Мало ли кто забежит на огонек из «старичков».

Да и молодым, новичкам здесь лучше, чем где-либо. Само место, центр, с прекрасными его ансамблями, помогает образовывать умы и души молодых строителей, токарей, каменщиков — юношей и девушек, приехавших со всего Советского Союза получать в Ленинграде специальности, проявлять свои таланты.

Дом культуры. Со всех сторон его окружает красота: невдалеке Дворцовая площадь, Нева, тихий Михайловский сад, Русский музей, филармония, Малый оперный театр.

А тот, кому знакомы петербургские дворики и проходные дворы вроде того, что идет под анфиладой арок в сторону капеллы от улицы Желябова к Дворцовой площади с мощным Александрийским столпом, — тот знает, что в самых неожиданных ракурсах вырастают, даже как бы взрываются красотой перед взглядом то позолоченные шпили, то купола, то ажурные решетки над крышами зданий, то колонны, то мосты со старинными фонарями. А какое разнообразие набережных, каменных плит тротуаров, потрескавшихся и отполированных шагами миллинов знаменитых и никому не ведомых петербуржцев, какое разнообразие окон, лепных карнизов, памятников, мемориальных досок, и какое же множество состояний, настроений рождается в душе, когда наполнена она прошлым и настоящим.

А переменчивая погода — то пелена дождя, то мокрые вихри снега, то голубой и пушистый иней на тихих деревьях, на гранитных тумбах и мраморных колоннах. Прихотлива, переменчива Нева, кровно сливаются она с городом и горожанами. То вспучивается под шквалистым ветром и плещет, брызжет через края набережных, грозясь затопить все вокруг, как это бывало не раз, то лежит разнеженная, искрится, греться на солнце, блаженно-спокойная, кроткая, она будто ласкится ко всем, замаливает свою недавнюю свирепость и охотно несет на мощных водах катера, буксиры, пароходы, стремительные «ракеты» на крыльях, и так в эти минуты не хватает парусников, как бывало, крылатых, романтических кораблей, душа ждет их всегда.

А небо! Порой оно наливается свинцовой тяжестью, густое, как воды Невы, холодное, с мятущимися иссиня-черными облаками, как на картинах Бенуа; и тогда в самом деле будто срывается и скачет на медном коне, взлетая над затопленным градом, царь Петр I. А то вдруг оно полно мягкой голубой нежности — большое, просторное, с легкой дымкой и причудливыми очертаниями облаков, в блаженной неге скрадывающее высоту зданий, шпилей; даже купол Исаакия кажется игрушечным под великолепным и мощным синим куполом над городом. И тогда забываются все холода, пронизывающие ветра, слякоть, промозглость долгих неприятных дней стужи, пробуждаются восторг, благодарность: ты здесь, ты все это видишь, ты ленинградец, ты счастливый человек, великой случайностью тебе дарована такая жизнь! И как хочется тогда сделать что-нибудь особенное, совершить какой-то подвиг для себя и во имя всех.

Вокруг люди, лица, разнообразие одежд, причесок, глаз, обличков — все это воспринимается как праздник, на котором ты избранник. В такие минуты, мне кажется, как бы ни устал человек от учебы или работы, какие бы сомнения или печали его ни тревожили, он начинает прислушиваться кциальному голосу своего таланта — и рождается песня, или стихотворение, или новые па танца или приходит точная догадка: вот как нужно собрать прибор, чтобы он ожила, вот как нужно поступить, отстаивая справедливость, вот как надо жить.... Благословенными кажутся все дни детства, отрочества, юности, зрелости и старости. Нет ни часа, ни секунды лишней. Время дороже всего, время, отпущенное нам на чудо жизни, на труд и стремление к совершенству во всем.

Шагал я, шагал и увидел: в стене труба, а из трубы бьет, расплескиваясь, вода. Рядом лужа, а в луже кораблик — верткое суденышко из плотной бумаги, — как и прежде бывало, опять отправился в круго-

светное плавание, в кругосветку, через огромную лужу-лужищу. Какое там, попробуй скажи мальчишкам, что это луга, — рассердятся или улыбнутся криво: это море, это океан и океанское судно пошло к берегам Африки или Австралии или по другим каким-нибудь путям, где бывали знаменитые капитаны...

Но разве может понять это взрослый дяденька? Это я, значит, взрослый дяденька, пришлось согласиться мне с этой мыслью. И все-таки подошел к луже и не постеснялся попросить у мальчишек листок бумаги из школьной тетрадки, чтобы смастерить новое судно — кораблик своего детства.

И сразу же почувствовал себя самым настоящим мальчишкой, когда, присев на корточки, начал сооружать суденышко, а пареньки смотрели на мои руки, оказывается давно отвыкшие сгибать бумагу так, чтобы получился устойчивый, широкобрюхий однотрубник — популярнейшая модель моих детских лет.

— Дяденька, это нужно делать не так, — стали учить мальчишки. — Вы не туда загибаете этот край, кораблик утонет, дайте покажу.

— Ладно уж, я сам как-нибудь, я сейчас, потерпите.

Кособоконький получился кораблик. Да что делать, плыви. Кособокость мальчишки простят, а вот если начну переделывать, засмеют.

И поплыл кораблик — «сам свой боцман, сам свой лоцман, матрос, капитан». Прилетел ветер, подул на него, и все дальше, дальше стал отходить он от берега, к флотилии других его кособоких собратьев, и тесно стало в луже, в море-океане. Плыви, плыви, кораблик, плывите все, вон впереди вам Босфор и Дарданеллы. Сейчас самое время — в путь. Весна. Детство природы. Кажется, всюду на земном шаре — солнце и тепло. Весна! «Катись, мое колесико, катись...»

Мальчишки шмыгают носами, смотрят то на меня, то на лужу. Один в курточке из синтетического материала; другой в зеленом пальтишке на вырост; третий в красной вязаной шапочке, конопатый, самый веселый и опрятный из всех.

Мальчишки занялись игрой, своим самым главным делом, а я пошел дальше к своим главным делам...

— До свидания, мальчишки! Счастливого плавания!

Что запомнится им на будущее из этих времен, что станет не шуткой, не баловством — характером, натурой, судьбой?



О Г Л А В Л Е Н И Е

Дорогие читатели!	5
ВСТРЕЧА	7
КАТИСЬ, КОЛЕСИКО, КАТИСЬ...	17
МЕЧТЫ, МЕЧТЫ...	41
ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ	46
РЕМЕСЛЕННИКИ	53
ТРУД – ДЕЛО ТВОРЧЕСКОЕ, ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ	57
В НОВОМ УЧИЛИЩЕ	98

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

**Ельянов Алексей Михайлович
ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ**

Ответственный редактор И. И. Трофимкин.

Художественный редактор В. Н. Данилов.

Технический редактор Т. Д. Раткевич.

Корректоры В. Г. Арутюнян и Л. А. Ни.

ИБ 10075

Сдано в набор 9.09.85. Подписано к печати 12.12.85. Формат 70×100¹/16. Бумага офсетная № 1. Шрифт обыкновенный новый. Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,1. Усл. кр.-отт. 20,15. Уч.-изд. л. 8,92. Тираж 100 000 экз. М-21025. Заказ № 882. Цена 50 коп. Ленинградское отделение оценков Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательства «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 191187, Ленинград, наб. Кутузова, 6. Фабрика «Детская книга» № 2 Росглаголиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 193036, Ленинград, 2-я Советская, 7.

50 коп.



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»